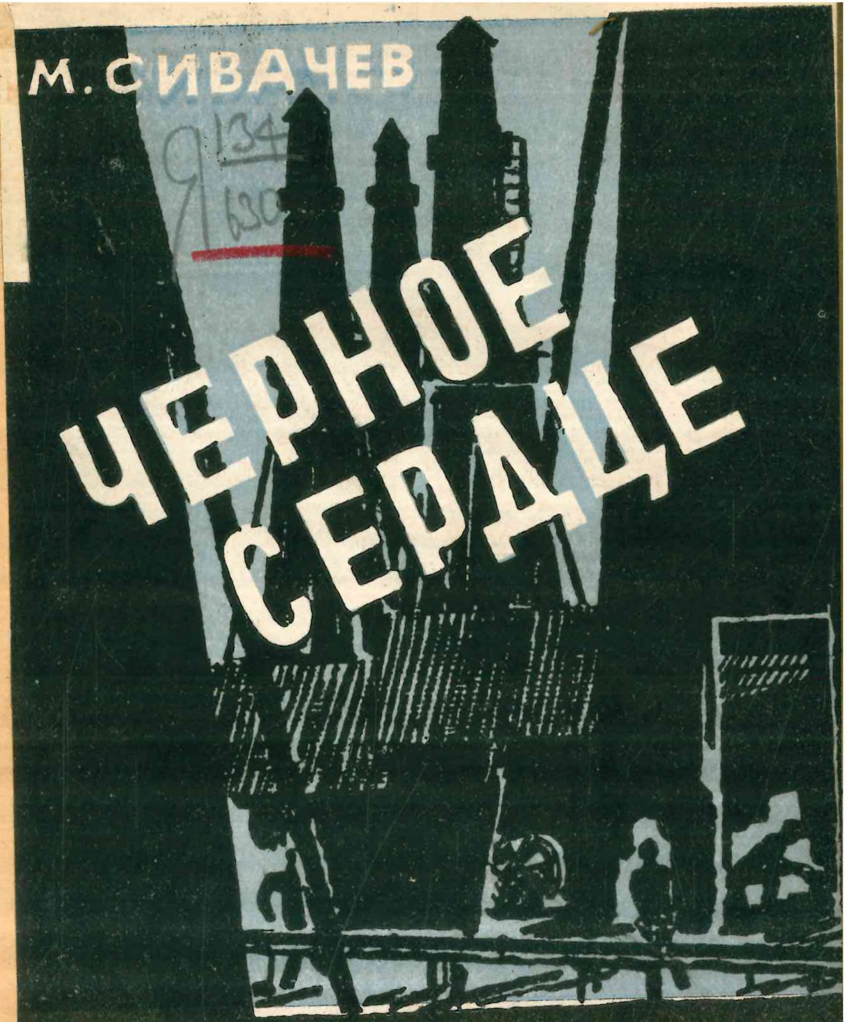
М. СИВАЧЕВ



ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ

Я 134/630

Массовая Библиотека

ГИХЛ 1931

Массовая
Библиотека

Я 134/630

МИХАИЛ СИВАЧЕВ

ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ

31-125715
ПУБЛ. БИБЛ. имени В. И. ЛЕНИНА С.С.С.Р.

Государственное Издательство
Художественной Литературы
Москва — Ленинград ☆ 1931

С 34

Технический редактор В. Солнцев.
Редактор И. Пулькин.

☆

Отпечатано в 3-й типографии ОГИЗА
«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
Москва, Краснопролетарская, 16
в количестве 25 000 экземпл.
Уполн. Главлита № Б—1488.
ОГИЗ X--31 № 366.
1931 квартал 4.
Зак. 3148
$4^1/_2$ п. л.

☆

2011035453

Предисловие

Михаил Сивачев начал писать в девятисотых годах, когда только одиночки пролетарии, да и то с величайшим трудом, прокладывали себе дорогу в литературу. О тяжелом пути рабочего, стремящегося стать писателем, Сивачев рассказал в своих автобиографических записках «Прокрустово ложе». Записки эти имеют характерный подзаголовок: «Из литературных скитаний современного Макара».

Самым интересным произведением Сивачева является его повесть «Черное сердце». Она интересна уже тем, что здесь Сивачев показывает мало кому знакомый быт рабочих дореволюционного времени на бакинских промыслах.

Правда, в этом произведении Сивачев не показывает широкой, развернутой картины жизни и борьбы бакинских рабочих,—а борьба эта интересна, в частности, тем, что имела ряд особенностей, связанных с разношерстным национальным составом бакинского пролетариата. Недаром один из самых обстоятельных исследователей жизненных условий рабочих нефтяной промышленности, А. М. Стопани, говорит в своей книге «Нефтепромышленный рабочий и его бюджет», вышедшей в 1924 году:

«По особенностям национального состава рабочих, по его разнообразию бакинский нефтяной район является весьма своеобразным и, пожалуй, единственным уголком Европы».

Руководящему партийному коллективу бакинских рабочих приходилось зорко следить за маневрами царских чиновников, стремящихся в своих интересах использовать национальную рознь,—он вел большую работу по интернациональному воспитанию. Разница культурно-бытовых условий и навыков была серьезным препятствием в деле общепролетарского объединения. Об этом с полной отчетливостью сказано в той же книге А. М. Стопани:

«Наряду с рабочими русской национальности, выдвигающей больше, чем какая-либо другая (из сколько-нибудь полно представленных здесь), чистого пролетария с развитым пролетарским сознанием, работает рабочий армянин—очень часто недавний выходец из деревни и одной ногой еще стоящий в ней... Наряду с ним—рабочий перс, забитое своими феодалами-беками и до сих пор обираемое своими муллами существо; рядом с ним кавказский татарин, очень редко совершенно порывающий со своей, часто близкой, деревней и ее традициями, далеко не столь забитый, как рабочий перс, но почти столь же послушный велениям своего корана...»

Конечно, с тех пор произошли большие изменения. Социалистическое переустройство хозяйства превратило царскую колонию Азербайджан в республику братских народов и столицу этой республики—Баку—в один из крупнейших промышленных и культурных центров пролетарского государства. Но если еще сейчас приходится вести борьбу с пережитками старины и если в 1924 г. они были еще так сильны, как сказано в книге тов. Стопани, то те, хотя и беглые, зарисовки дореволюционной жизни бакинского рабочего, которые имеются в произведении Сивачева, заслуживают внимания.

Жизнь рабочих мусульман в описаниях Сивачева—это сочетание длительного, отупляющего труда, нищенской заработной платы, кошмарных жилищных условий. Землянки, и даже просто ямы, где копошились целые семьи с оборванными, грязными и вечно голодными детьми—вот картина быта рабочего нефтяных промыслов при царизме.

Сивачев говорит о двух категориях рабочих: одни—местные, пришибленные нуждой и всей системой эксплоатации труда, другие—приехавшие из центра и внесшие в эту далекую окраину дух пролетарского гнева. Это, конечно, представление упрощенное, далеко не исчерпывающее всего многообразия прослоек бакинского пролетариата. Но здесь правильно указана революционизирующая роль рабочих, приезжающих из больших фабричных городов и имеющих опыт классовой борьбы.

Интересные страницы отводит Сивачев обрисовке кавказского миллионера Галиева, царившего над морем нищеты и страдания. И становится вполне понятным, что в этой системе, построенной на жесточайшей эксплоатации, в системе, где капи-

талист, преданные ему служащие и полиция, охраняющая его интересы, думают о грабеже «не меньше, чем бандиты», роль фабричного инспектора сводится лишь к издевательству над наивными жалобщиками-рабочими, думающими найти у него защиту против нарушения хозяином даже капиталистических законов о труде.

Несомненный интерес представляет шестая и последующие главы повести, где Сивачеву удалось изобразить любопытную фигуру мелкого промышленника, который, по неумолимым законам экономики, должен быть в результате конкуренции стерт в порошок крупными нефтяниками. Только случайность (у кустаря неожиданно забил нефтяной фонтан) отдаляет час его гибели.

Во второй половине повести Сивачев сосредотачивает свое внимание на изображении небольшой рабочей группы, спаянной классовым чувством и подпольной работой. К сожалению, характер этой революционной работы показал довольно бледно. Но ведь и об этом пока в художественной литературе почти ничего нет. Опубликованные в последнее время воспоминания кавказских рабочих-подпольщиков дают очень интересный материал, который еще ждет своего пролетарского художника.

В последней главе повести есть эпизод, дающий представление о семейно-бытовых нравах, характерных для жизни отсталых народов Востока. Эти страницы довершают значение повести Сивачева— повести о тяжелом прошлом бакинского пролетариата.

Глава первая

Если хочешь ясно видеть сегодняшний день и приоткрыть завесу на завтрашний—бери газету.

И вот однажды, поздно ночью, уже усталый, я потянулся к газете.

> ...Поселковое строительство... Коттэджи английского типа... Электричество, канализация, водопровод, газопровод, асфальтовые тротуары. А при поселках — парки, скверы, детские площадки, водоемы, цветники...

И это—на бакинских промыслах?

> С первого мая этого года приступлено к постройке огромного города-парка имени Степана Разина. Десять тысяч квартир, не считая клубов, столовых, библиотек, школ, спортплощадок, общественных бань и т. д.

Да, так живут бакинские рабочие в 1925 году.

Я на своей шкуре познал, что значит—бакинские промысла.

Давнишнее это для меня—почти четверть века прошло,—а вот и теперь, когда это давнишнее вспомнилось, похолодели руки, пробежали по спине мурашки.

Залетел я на бакинские промысла двадцатидвух-

летним юнцом, соблазненный, как и многие рабочие, слухами о высоких заработках, а главное—утверждениями, что такие болезни, как хронический ревматизм, проходят в Закавказьи сами по себе, от одних только климатических условий.

Меня ревматизм стал мучить с девятнадцати лет, а так как у господ капиталистов не было обычая заботиться о состоянии здоровья своих рабочих, то болезнь шла естественным ходом, изредка подлечиваемая «домашними средствами».

Нельзя забыть дня, когда я впервые очутился в Балаханах.

Так вот оно какое—царство нефтяных королей—Нобелей, Ротшильдов, Тагиевых, Манташевых,—царство, которое так усердно охраняется законами и покровительственными пошлинами!

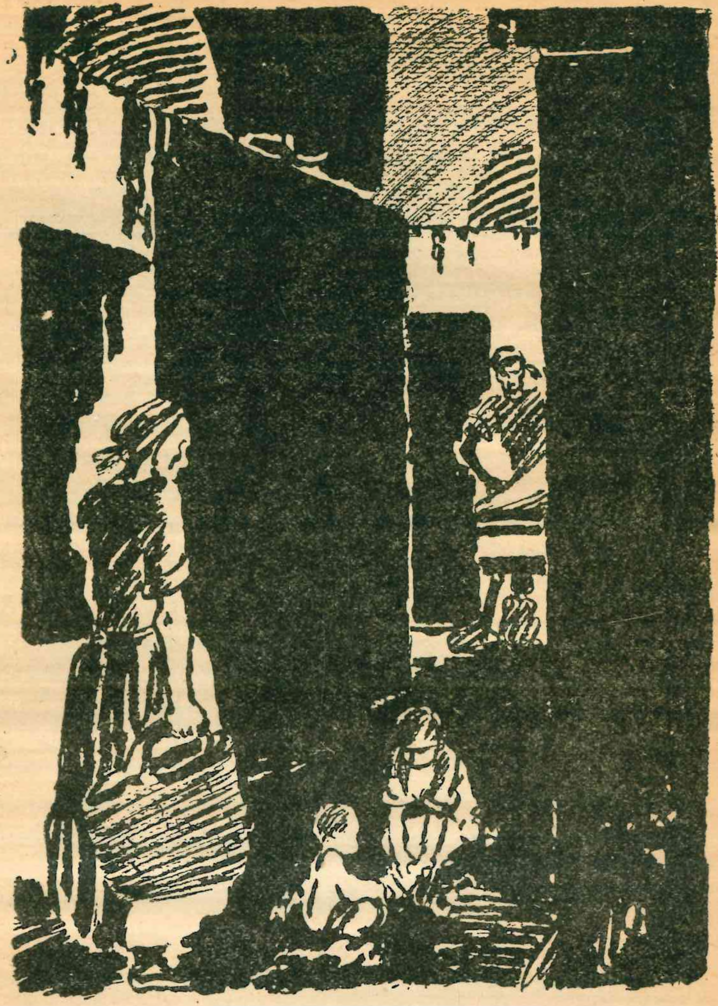
До Балаханов я видел не мало плохих производств, но о таком я и помыслить не мог.

В поповский ад я не верил; про жизнь, несмотря на свою молодость, уже знал, что она—далеко не рай, но все же земного ада я еще не мог себе представить.

А увидел Балаханы,—и представились они мне настоящим земным адом.

Понаслышке я знал, что тут занято не меньше ста тысяч рабочих. По количеству снующих по промыслу людей решил я, что цифра не преувеличена; половина из этих ста тысяч живет в Баку, другая же половина с женами и детьми живет здесь, на промысле. Но где же?

Тысячи буровых вышек, целый лес, насчитывающий в диаметре около десяти километров; лес, в



...Узкий как колодец двор...

котором, пока привыкнешь разбираться, не мало поплутаешь. Но где же жилища?

А когда, наконец, научился я находить эти жилища, мне стало жутко.

Грубо выложенные из булыжника стены, над стенами—плоские крыши, окна—все во двор. Только по воротам и узнаешь, что тут люди ютятся. Азиатчина, прячущая свою жизнь за камнем.

А заглянешь в эти ворота—узкий, как колодец, двор, и кишат в этом дворе мужчины, женщины, дети так густо, как черви в гнилом мясе. Да и запрятаны эти дворы за вышки так ловко,—не скоро заметишь.

Зато харчевен, лавчонок и духанов—больше, чем жилья. И не запрятаны они за вышки, а выпячены: сами лезут в глаза.

Все в мазуте: земля, вышки, люди, постройки. И все в копоти: коптит мазут в кочегарках, коптит у каждой хозяйки плита.

Два часа подышать этим воздухом—значит четыре часа потом отплевываться.

И в довершение всего—жирные, откормленные, румяные торгаши режут прямо около своих духанов и харчевен баранов, оставляя кишки и прочие отбросы гнить тут же.

Чуть не за десятком этих торгашей наблюдал: не догадается ли кто из них хоть слегка забросать землей эти отбросы?

Ни один не догадался.

От вони кружилась тошнотно голова, а в мозгу не менее тошнотная мысль: какова же в этом проклятом месте должна быть смертность?

И горько было сознавать, что никто, конечно, такой статистики не ведет.

За себя через несколько часов блуждания по Балаханам я был спокоен: в моем кармане находилась достаточная сумма, чтобы завтра же уехать отсюда куда-нибудь подальше.

Но степняки...

Я узнал, что живущие в дворах-колодцах—почти счастливы: за чертой промысла еще хуже.

Захотелось посмотреть: как же могут жить люди еще хуже?!

Под вечер перевалил я за черту промысла.

Меня встретили... землянки, в которых есть какое-то подобие входа—двери, сбитые из разнокалиберных дощечек,—и какое-то подобие крохотного оконца (в одном месте—круглое: стекло от будильника, в другом—угольник: кусок от где-то разбитого окна). Это еще хорошо! Мне встретились просто ямы, кое-как прикрытые сверху досками, щепой и сорными травами.

И в иных ямах—целые семьи, с детьми, в лохмотьях... Люди ли это? Да, люди, но какие жуткие: кажется, что из них сочится мазут. Косматые старые армянки, похожие на ведьм. Мусульманки, едва завидев меня, спустившие на лица чадры, рядом с русскими бабами занимались приготовлением питья и пищи. Одни кипятили чай, у других что-то варилось в горшках, третьи обжигали бараньи головы.

У каждой свой очаг—расщелина в земле, из которой выбивается газ. По-бакински—«вечный огонь». Синее пламя с остро-удушливым запахом.

Но женщинам не до запаха. Сидят на корточках около очагов и тревожно поводят головами в одну сторону: дул легкий ветерок, и они боялись, как бы он не усилился.

Хорош «вечный огонь», да не надежен: покрепчает ветер—задует очаги, и останутся тогда горшки с недоваренной пищей.

Стали подтягиваться рабочие. Черные от пота и мазута, как негры, а помыться нельзя—вода дорога! Жадно, как голодные животные, набрасывались они на еду и питье. А около вертелись дети, не смеющие потребовать своей доли,—с видом собак, ждущих, когда им бросят остатки.

Небо заволоклось темно-синим, как шелк, пологом. Очаги с синим огнем не угасали. Не умолкал разговор на нескольких наречиях.

Я смотрел на эту дикую картину страшного, безмерного унижения человеческих существ, которым за каторжный труд не дают более сносного существования, и впервые в мое сердце проникла острая ненависть: притащить бы сюда всех нефтяных королей с чадами и домочадцами и передавить бы, как опасных гадин!

Оторвался я от «степняков», когда спохватился, что в одиннадцать часов вечера из Балаханов идет в Баку последний поезд. Выбрался на шоссе, ведущее к станции, но шел не долго. Меня догнали, может быть—из тех же землянок, трое осетин, молча, но вразумительно показали мне кинжалы: первым долгом отобрали у меня кошелек, а потом спокойно, не торопясь, указывали мне, какую часть своего костюма я должен им отдать.

Я удивлялся этому спокойствию, а им торопиться было нечего: они лучше меня знали, что на промысле ровным счетом никакой полицейской охраны нет.

Меня раздели до нижнего белья. Они могли забрать и его, если бы я вел себя «некорректно». Я не знал их языка, но когда они совещались насчет нижнего белья, предварительно убедившись в его добротности, я понял, что белье мне решено оставить за ту великодушную, спокойную готовность, с какой я отдавал все, на что мне указывали.

Они ушли. Один из них, уходя, ласково потрепал меня по плечу. Но они вспомнили, что, кроме ботинок, у меня на ногах должны быть еще носки; вернулись и забрали носки.

После этого мне уже нечего было бояться провести ночь на промысле, и я, приткнувшись к одной вышке—новенькой, еще не загаженной мазутом, хорошо выспался—ночь была теплая, июльская.

На другой день я приплелся в Баку к гостинице, в которой остановился.

Начало этого путешествия меня очень смущало: пройти в таком виде около четырнадцати километров, встретить сотни людей!

И опять оказалось—смущение мое вытекало из незнания обстановки: на меня смотрели с веселыми смешками, как на нечто очень обычное и немного забавное. А с середины этого «путешествия» и мне самому положение стало казаться забавным. Не забавным было только вот что. Что меня ободрали—это пустяки,—мне еще было во

что одеться. Но глупость—захватить с собой в незнакомом месте все деньги; за эту глупость я должен был поплатиться посерьезнее.

Ведь бакинские промысла не лучше Сахары, где люди сбились только потому, что там есть нефть. И мне уже из этой Сахары немедленно выбраться не удастся, придется здесь несколько поработать. Работать в Балаханах, где легче получить работу, чем в Баку. А жить в Баку—это значило прибавлять к рабочим часам еще часа четыре на переезд. По состоянию моего здоровья это было для меня непосильно.

Работать в Балаханах для меня значило и жить тут же. Но жить там, где земля ядовита—настолько отравлена, что не может родить и питать ни захудалого кустика, ни травинки?

Эту горькую необходимость я приготовился принять в крайности: когда дойдет дело до ликвидации последней рубашки, последних штанов—тогда, значит, Балаханы!

Поколесил я около Баку: по Биби-Эйбату, по Черному городу. Первый только что начал оживать, и требование на рабочие руки в нем выражалось единицами; во втором, когда я впервые очутился в его границах, «аромат» нефтеперегонных заводов оказался настолько сильным, что мне на несколько минут стало дурно.

Я не был неженкой: до этого я знал, что такое воздух писчебумажных фабрик, дубильных заводов, спичечных (серных) производств.

Но воздух черного города не сравним ни с чем; если взять воздух самого загаженного и запущен-

ного отхожего места, через которое каждый день проходят сотни людей, то все-таки сравнение будет слабое.

Про заводы нефтяных королей нечего было и думать. Я искал работы на заводиках тремя-четырьмя рангами ниже.

Но и тут меня постигла неудача. Пришлось пойти к убогому кустарю.

Полдюжины старых, изношенных станков, полдюжины не менее изношенных слесарных тисков, жуткая кузница в четыре горна, где в три года можно ослепнуть,—вот и весь «механический» завод «фирмы братьев Акоповых».

Я имел дело только с одним Акоповым—другого ни разу не видал.

Кое-как сколоченная крыша, через которую во время дождя бегут внутрь потоки, над этой «фирмой» есть, но стен не полагалось.

Акопов удивленно спрашивал:

— А зачем стена? От стены жарко. Без стены—ты работаешь, а тебя—ветерком. Хорошо! Без стены больше сработаешь.

Станок токарный у меня был маломощный, а вещи, как обычно у кустарей, наваливались не по станку тяжелые. Но еще хуже было с инструментальной сталью. Полагался один резец. Что за мука обходиться одним куском стали, да еще в кузнице братьев Акоповых,—об этом может судить только человек, знакомый с токарной работой.

Убедить хозяина в том, что такая экономия стали очень невыгодна и для него и для токаря, оказалось невозможным.

Когда я говорил ему, что в России, в хорошо поставленных заводах, токарь может иметь инструментальной стали сколько потребуется, он хитровато улыбался:

— На десять резцов иметь может?

— Больше. На десять—мало.

— А на двадцать?

— Может. Имеют и больше!

— Больше? Да куда же столько?—Он широко открывал глаза, но потом щурился, грозил пальцем:—Я, душа моя, сам хор-роший жулик! Меня не обманешь. Дай тебе двадцать, а через неделю у тебя—десять, через две недели—пять, а через месяц—один резец. Куда делись? А ты скажешь: сработались. Что с тебя возьмешь? В суд подать—ни один судья тут не рассудит. А поэтому у меня и правило—золотое правило: один резец—и больше никаких!

Отчасти он был прав: некоторые рабочие, действительно, в этом отношении были не чисты.

Хозяйская расценка на сдельщину была не очень низка, и если бы не хождения в кузницу—из резца для внешней обточки переделать в резец внутренний, из внутреннего—под резьбу, а из-под резьбы—вновь для внешней обточки,—можно было бы заработать в два раза больше, чем я зарабатывал.

И когда мне надоела бесплодная трата времени и сил, я предложил соседям по станкам: или всем настаивать на дополнительной выдаче инструментальной стали, или, чтобы показать хозяину всю неразумность его экономии, приобрести сталь на свой счет.

Ни на то, ни на другое соседи не пошли. А когда я один осуществил эту мысль, они такого «аристократизма» не потерпели: через два дня четыре резца, купленные мной за свой счет, были у меня выкрадены.

Акопов после этого не раз надо мной ехидно смеялся.

Глава вторая

Отработав в «механическом заводе» день и пожелав за день раз десять, чтобы такой завод в тар-тарары провалился, я приходил домой, мылся, переодевался и шел на парапет или в городской сад.

Нефтяники, купцы, лавочники и всякие посредники между трудом и капиталом—все, кто жирел за счет Балаханов, относительно себя помнили, что на такой географической точке, как Баку, жить без зелени нельзя. И поэтому в городе парапет и городской сад по вечерам набиты были до отказа.

А тем, которые уже безмерно разжирели за счет Балаханов,—тем уже и Баку с его садом и парапетом не нужны: могут порхать по самым лучшим, по самым цветущим уголкам всего мира.

Ну, а сотни тысяч рабочих в Балаханах что видят? А их семьи, дети?

Я боялся смотреть в глаза детям Балаханов.

Однажды, в воскресный день, в августе, я забрался в Балаханы.

Перед тем я на вокзале был свидетелем маленькой сценки.

Вылощенный с ног до головы, одетый по последнему крику моды господин и горько и злобно жаловался другому:

— Вчера я сюда прибыл, а сегодня... извините, сегодня я уже уезжаю... С меня довольно в таком месте одних суток! Я нарушаю контракт... я должен заплатить фирме большую неустойку? Я заплачу. Тут уж не отвертишься. Но и с тем наглецом, который осмелился предложить мне службу в таком месте,—о, с ним я не забуду хорошенько посчитаться! Я найду способы посчитаться хотя и не такой же, но... не менее приятной монетой... Тут не только воротничок—мозг размокнет!

Господин вытащил из бокового кармана пальто небольшой сверток, бережно развернул его и, взяв брезгливо двумя пальцами, показал воротничок бурого цвета и мягкий, как тряпка.

— Вы знаете, как в Петербурге крахмалят белье? Ах, не знаете? Блестя-ще! Идеаль-но! А теперь посмотрите, что из этого белья получилось? И всего в каких-нибудь три часа! Хорошо еще, что я с собой не захватил жену: вот была бы баталия! Теперь переезжаю в Петербург, а из Петербурга дня через два поеду месяца на два в Ниццу: я истрепал себе нервы за одни только сутки! Понимаете? Это уж—не жара, а дьявольское пекло!

Собеседнику-то, видимо, было жаль себя, что он вот не может поехать в Петербург или в Ниццу, и он вежливо, но злорадно улыбался: «А мы-то вот живем? Вам все столицы да Ниццы подавай. Гуси какие,—поживите вот здесь!»

А господин бережно, как драгоценность, завер-

тывал воротничок в бумагу: вероятно, он собирался еще не раз его показывать!

...После этой сценки я попытался разговориться в Балаханах с детьми.

Карапуз лет четырех сидел около насоса и сковыривал с него щепочкой жирную грязь из пыли, мазута и сала.

Я дал ему конфет и два больших пряника и спросил: желает ли он ходить ко мне в гости? Он радостно замотал головенкой и крепче прижал к груди конфеты и пряники: желает! А желает ли он пойти гулять за промысел со мной?

Я долго бился, пока он понял, чего я от него хочу. Но когда понял, изо всех сил замотал головенкой: он не пойдет!

Черта, где кончается промысел, для него страшная черта.

— Тятя не велел... мамка не велела... Там—«антули», там—«аланки»! Там меня съедят!

И когда он говорил об «антулях» (тарантулы) и об «аланках» (фаланги)—в глазах его стоял ужас: тарантулы и фаланги представлялись ему чудовищами, по крайней мере, не меньше вышек.

Я ему стал говорить о полях, лесах, цветах—и видел перед собой пустые глаза: он не мог себе представить ни поля, ни леса, ни цветов.

А под конец я ему показался просто скучным человеком, и он опять принялся ковыряться щепочкой в грязи насоса.

Карапуза разморило: он тут же около насоса заснул, склонив голову на бок, с раскрытым как у галчонка ртом.

Припомнился вокзальный господин. Да, тот помчится в Ниццу только оттого, что у него размок воротничок, а куда «помчится» вот этот карапуз, когда подрастет—если его сегодня не хватит солнечный удар?

Подростком он неизбежно отправится за черту промысла; увидит там, что представляют собой «антули» и «аланки», впитает в себя запах худосочной полыни и не раз раскровянит себе ноги о сухой и колючий курай.

Потом он втянется в трудовое ярмо промысла...

... И несколько раз с парапета или из городского сада я по вечерам уезжал в Балаханы. Придешь, взглянешь на «чистую публику», на выхоленных «деток»—и не своим голосом, а словно кто-то другой из меня, зычно командуешь:

— Извозчик—в Балаханы!

От встреч с «джентльменами» я себя несколько застраховал.

Там, где на громадный, многотысячный промысел всего-навсего один полицейский участок, думающий не об охране населения, а о грабеже не меньше, чем бандиты[1]; там, где редкая ночь проходит без убийств, о которых бакинские газеты не считали нужным упоминать даже в хронике, если убитые были рабочие,—там каждый скоро догадывается, что об охране своей головы нужно думать самому: за жилетом у меня был скрыт внушительных раз-

[1] Позже, когда меня уже не было в Баку, этот участок фигурировал в громком на всю Россию судебном процессе. Он оказался застенком, где процветали не только грабежи, но и убийства и пытки.

меров финский нож, а в кармане лежал надежный бульдог.

Темно на промысле, не видно огней жилья; только духаны прут из мрака вышек, нагло и обильно расцветившись многокрасочными бумажными фонарями. Только около них жизнь и движение; вне духанов жизнь притаилась, спряталась. Около каждого духана—кучами унылые, забитые бабы; в окна и двери с тоскливой завистью засматривают дети: там гуляют их отцы и братья! Там—лучшее, что они видят в своей жизни!

И в каждых детских глазенках—нетерпеливая мечта: поскорее вырасти, поскорее влезть в работу, чтобы иметь деньги и погулять вот так, как гуляют отцы и братья.

В духоте, в давке, в густых облаках «махры», под ухабистое гарканье гармошек, покрытые с ног до головы копотью и мазутом—тысячи рабочих проматывают свое здоровье.

На деле—покрепче морского каната, а на видимость—тоненькая, дабы ее как можно дольше не рассмотрели и не разорвали, дьявольски жестокая и хитрая ниточка водит их все по одному и тому же пути: от работы—к духану, от духана—на несколько часов дурманного, хмельного сна—в собачью конуру, где скулят голодные дети, злобно ругаются бабы, из конуры—опять на работу, а с работы—опять в духан!

Проклятый, заколдованный круг, из которого как будто нет выхода,—круг, в котором человек, именуемый рабочим, вечно должен бродить с тяжелой, затуманенной головой.

Пили мрачно, с тихими, бессильными жалобами, с безудержными пьяными слезами, оплакивая себя еще задолго до смерти, пили и с бешено надрывными выкриками.

Детина лет под тридцать, с могучими мускулами, способный без особых усилий вязать узлы из полосового железа, яростно, как рассвирепевший бык, крутил головой и ревел:

— Жизнь у нас?.. Чорта с два! Видали, как ведут быков на убой? Спереди веревкой за рога тянут, сзади—чуть бык упрется—хвост накручивают! Куда быку податься? Так и с нами: не захотим горбы на хозяев ломать, когда нам вместо трех рублей за день дают руп,—куда подадимся?

И все остальные, тоже как быки, в ответ свирепо мотали головами: некуда, мол, верно... Но все же они не желали мириться с ролью быков до конца: взметывались вверх кулаки, кровью наливались глаза.

— Эй, вы там, подлипалы... рваните-ка «Балаханчики»!

Гармонисты ухали. Вспыхивала частушка.

Эх, Балаханы, Балаханы,
Балаханчики...
Снимем мы последние штаны
У духанщиков!

Эх, буровые-тесовые
Вышечки...
Кому хлеб — не в хлеб:
Давай пышечки.

А нам мочи нет —
Так в могилушку...

Жрут хозяева
Нашу силушку.

Балаханы, Балаханы,
Балаханчики...
В мочь войдем — будуг пышечки
Без духанщиков!

Частушка эта была сложена не только для хозяев духанов: «духанщиками» рабочие презрительно называли и своих работодателей.

Пели эту частушку по духанам дружно, с подъемом, внушительно: так не поют рабы, покорно принимающие плеть своего господина, а поют люди, мучительно думающие, как им избавиться от этой плети.

В испарениях пота и винного перегара, в облаках махорочного дыма тяжело кружилась голова, и скоро от одной бутылки виноградного вина наступало опьянение, и пьяно думалось: да, будем воевать за «пышечки»!

И чудились эти «пышечки» в сравнении с тем, что у рабочего имеется, чем-то роскошным, несбыточным. На миг врывалась отрезвляющая мысль: «Ерунда! Никогда этого не будет!» А в следующий миг еще более настойчиво, более повелительно думалось: «Нет, не ерунда. Так должно быть. Чем тяжелее труд, тем светлее должен быть отдых. Не тому лафа, кто ухитряется пробиваться, сидя на шее у других, а тому, кто работает: ему, и только ему, во время отдыха—все цвета радуги!»

...А на другой день в заводике у своего убогого кустаря, надрываясь над работой, да еще при хмельной голове, я впадал во власть тоски: «Давно

пора отсюда. Складывай монатки—и в путь! Где-то шумят леса, текут реки, шепчутся поля, а здесь какого чорта видишь?»

И мечтаешь весь день не о какой-нибудь благодатной местности, а о серой, неприветливой «Калуцкой» губернии.

Овраги, лощины, суглинок худосочный,—а все же питает и травку всякую, и зеленые шапки молодняка. Скудная земля, а в сравнении с бакинской—прекрасной кажется.

Иногда по вечерам тоска уводила меня к Каспийскому морю. Смотрел и насмешливо думал: «Вот тебе синее море!» Синего моря не было. Насколько глаз хватал,—виднелась жирная, маслянистая пелена нефти. Громко зовется—«море», а выкупаться в нем нельзя. Погань, а не море!

И опять я решил: «Éду. Пора!»

Но когда по вечерам попадал на парапет или в городской сад, то чувствовал: «Нет, ты отсюда не уедешь».

И когда я понял, что действительно не уеду, я перестал посещать духаны: пора приняться за другое.

С восемнадцати лет вошел я в партийную организацию, и с тех же пор потянулся за мной хвост полицейской и жандармской слежки.

По приезде в каждый город я был обязан первым долгом сделать визит в жандармское управление, но в Баку я этого не выполнил: надоело подвергаться сыску, когда я уже года два был для сего почтенного учреждения почти безвредным человеком.

Ревматизм вышиб меня из партийной работы. Уж не до партийной работы было, когда я по нескольку месяцев в году валялся по больницам.

Связи постепенно обрывались.

Пока я искал возможности вклиниться в бакинскую организацию, а вклиниться было нелегко,— организация конспиративная и крепко спаянная,— я стал свидетелем «большого бакинского события».

Глава третья

Персидский шах ехал в Петербург на свидание с царём, а попутно соблаговолил остановиться на денек-другой у своего подданного, прежде бывшего амбалом,—бакинского архимиллионера—Тагиева. До шаха Тагиеву была оказана еще более «великая честь»: Александр III проездом через Баку также «соизволил» побывать в гостях у бывшего амбала. Русский царь «не погнушался» простым, почти неграмотным персидским мужиком, так как у мужика этого были нефтеносные земли, огромная суконная фабрика, банк и дворец—такой дворец, который не мог бы остаться незамеченным в любом столичном городе.

Тагиев разбогател на русской земле, Тагиев был засыпан русскими орденами и почетными званиями, к Тагиеву, наконец, едет в гости сам русский царь, но Тагиев даже и после этой «чести» продолжал оставаться в подданстве шаха.

Но вспомнил ли царь о своих «верноподданных», видел ли, в каких условиях живут и работают его

«верноподданные» на нефтяных промыслах—ведь не десятки людей, не сотни, а сотни тысяч?

Царь об этом не догадался, ибо у этих сотен тысяч «верноподданных» нет ни банков, ни дворцов.

Для встречи шаха не пощадил Тагиев не только мошны своей, но кое-чего и поважнее мошны. В порыве «патриотического чувства» он предложил шаху для его гарема свою родную дочь, но дочь, уже будучи воспитана и образована на европейский лад, к ужасу Тагиева, от этой «чести» отказалась.

Весь путь от вокзала до дворца Тагиева (около двух километров) был застлан коврами и уставлен с обеих сторон тропическими и оранжерейными растениями, выписанными изо всех крупных городов Кавказа и Закавказья. За неделю до приезда шаха, в Балаханах между «верноподданными» шаха,—а их на промыслах нужно было считать десятками тысяч,—велась агитация: почтить своим присутствием повелителя страны «Льва и Солнца», когда он будет шествовать от вокзала до дворца архимиллионера.

Но плохи, должно быть, оказались «верноподданные». Когда по улицам двигалось торжественное шествие шаха с его пышной свитой и охраной, было много полиции, войск шпалерами, много купцов, мелких лавочников, но очень мало «верноподданных», работающих на промыслах. А так как цепь людская была длинна и густа,—их и совсем можно было бы не заметить, если бы они не выделялись своей страшной внешностью.

Купцы и лавочники от востроога надрывали глотки, а они угрюмо молчали.

Первые—лоснящиеся от жира и довольства, вторые—истощенные, большинство—пораженные трахомом, туберкулезом и сифилисом.

Это был до последней степени нищий пролетариат, которому даже за одну и ту же работу платили вдвое меньше, чем русским рабочим, только потому, что они—персы...

Забитые, приниженные всей обстановкой, в чудовищных, насквозь пропитанных мазутом лохмотьях, оттесненные на задний план, где шаху совсем не было их видно, они держались отдельными, небольшими кучками, и каждую такую кучку окружало большое свободное пространство.

Они видели, что ими брезгуют, что от них сторонятся, как от падали, и в глазах у них вырастал вопрос: зачем же их звали?

И многие сейчас же шли прочь.

Лавочники и какие-то, видимо, специально присланные для этого сюда восточные люди горячо убеждали их приветствовать своего повелителя, но скоро остывали: видели, что эти «верноподданные» более чем охотно крикнули бы, да только не то, что надо...

Самый темный и забитый из них понял, что если повелитель едет к архимиллионеру и не спрашивает бедняков своей страны—как же живется им в России,—то радоваться тут нечему.

И вышло так: до своего приезда шах имел еще «верноподданных» из этой рабочей среды, а в торжественный момент шествия ни одного «верноподданного» у него не осталось.

Рядом со мной стоял русский рабочий. Богатырь по росту и телосложению, с большими, по-коровьи добрыми и по-детски наивными голубыми глазами, он долго смотрел на тропические растения и ковры с таким изумлением, точно впал в столбняк. Потом скрипнул зубами слегка, в другой раз—покрепче, а когда скрипнул в третий ра, то я невольно отодвинулся.

До этого лицо его было густо румяно, теперь побледнело, крепко сжатые челюсти двигались помимо воли, глаза воспалились бешеным гневом.

Стал вглядываться и он в меня. Понял, что я из своих—из рабочей братии, подошел ко мне и наклонился к уху:

— Настелили... наставили...—он крепко выругался.—Жалко, что нет у меня такой штучки, от которой бы все к чорту—в куски!.. На воздух! Себя бы не пожалел. Пойдем в духан. Чую,—сил у меня не хватает больше смотреть на такое...

На окраине города, в духане, за бутылкой вина познакомились поближе. Он оказался таким же, как и я, токарем. Назвался Василием Богдановым.

Рассказывать ему, по его мнению, было нечего: родился и жил до восемнадцати лет в деревушке Симбирской губернии, токарить выучился там же—на фабрике; здесь, в Балаханах, живет второй год. Вот и вся его жизнь.

Моя жизнь была побогаче, и он жадно слушал меня, где я побывал, что видел.

Мне очень понравился этот рабочий: богатырь по росту и силе, а по прямодушию и искренности—мальчик.

Но больше всего он поразил меня тем, что бо-

родицей зарос до скул, а оказалось, что он не отбывал еще воинской повинности и моложе меня больше, чем на год.

После этой встречи прошел месяц.

Василий раза три навещал меня и каждый раз горько обижался, что я не загляну к нему. Но мне было уже не до того, чтобы разъезжать по гостям.

Шли дожди, здоровье мое ухудшалось, я уже еле мог работать. А под конец сентября норд-ост так стал погуливать по «механическому заводу» братьев Акоповых, что не только у меня, но и у здоровых рабочих иногда зуб на зуб не попадал.

Добра в этой обстановке мне ждать не приходилось. Я попросил расчета без отработки двух недель. Хозяин заявил, что заказ у него срочный, что хорошего токаря найти немедленно трудно, потом взял карандаш и стал высчитывать: если он не найдет мне заместителя в трехдневный срок,—убыток будет такой-то; если в недельный срок—убыток будет такой, от которого почешешься, а если свыше недели прогуляет станок,—Акопов злобно побледнел:

— Такой убыток... такой убыток—ты, душа моя, со всеми своими потрохами такого убытка не стоишь! Мое последнее слово: хоть подыхай у станка, а две законных недели отрабатывай!

Я считал, что мои «потроха» дороже его убытков, и пошел к фабричному инспектору. Нужно сказать, что в этих инспекторов я верил плохо: раз шесть в бытность рабочим я обращался к ним с безусловно законными претензиями и ни разу не получил удовлетворения. Да и вообще я не встречал рабочих, которые когда-либо нашли защиту у инспекторов. Это был гнусный институт, который целиком стоял на стороне капиталистов.

Но тут мне казалось, что с «фирмой братьев Акоповых» должно клюнуть: нельзя же в самом деле дорабатывать и без того больному человеку две недели в таком «заводе», который защищен от непогоды хуже, чем помещение для скота!

Прислуга спросила меня—по какому я делу, а узнав, что я—рабочий, заявила, что инспектор никогда рабочих не принимает.

Я потребовал, чтобы меня приняли.

Усмехаясь, она ушла. Вышел инспектор. Громадного роста мужчина, черный, как жук.

— Вы требовали меня?

— Я.

— А вы подумали, что делаете?

— Вполне! Я пришел искать своего права.

У него свирепо выкатились глаза:

— Права? А вы понимаете, что такое право? Идите-ка отсюда к чорту, вон! А не пойдете,— я вас с лестницы спущу.

Громадный дядя не шутил. Бороться с ним я был едва ли в силах, если бы даже был здоров. Прямо от него я пошел к Акопову и встал за станок. А через трое суток, после особенно холодного дня, увидав мои распухшие руки, Акопов сам «великодушно» согласился:

— Вижу, вижу: ты уж не работник! Идем в контору—получай расчет. А когда отдохнешь, опять приходи: люблю хороших мастеров.

Судя по ходу болезни, я уже не надеялся, что

мне придется «отдохнуть». Суровая жизнь приучает сурово мыслить и сурово поступать.

От расчета у меня очистилось несколько десятков рублей. Не приняли меня и в больницу: «Таких хроников мы не берем».

Несколько десятков рублей уже были совершенно лишними: ехать из Баку было некуда и незачем.

Путь, на котором я мог «отдохнуть», был один, и он был выбран: в кармане лежал надежный «бульдог», к которому я чувствовал что-то похожее на большую нежность.

Более близких знакомых, чем Василий, у меня не было. И напоследки почему-то сильно потянуло меня повидать этого богатыря.

Каждое движение, каждый шаг были для меня мукой. Напрасно я себя убеждал, что самое большее, что ждет меня у Василия, это—кутеж, от которого на другой день мне станет еще тошнее,— все-таки что-то заставило меня раскачаться и отправиться в Балаханы.

Приехал под вечер, когда только-что кончилась работа. Познакомился с друзьями Василия,—они же и сожители его: Козлов и Кубичев—токаря, третий—Витька—слесарь.

Устроили обильную выпивку. Я щедро угощал. Во хмелю выболтал, какой «отдых» для меня неизбежен, и свалился, как слабый, раньше всех, а поутру обнаружил, что ни денег, ни револьвера у меня нет.

Заподозрив нехорошее, я резко потребовал и то и другое.

Засмеялся Василий:

— Не к чему! У нас будешь жить. Я знаю одну бабку: она тебя вылечит.

Козлов подсовывал мне карандаш и листок бумажки:

— Пиши хозяйке, чтобы она отдала твои вещи. В два счета привезу.

С мягкой улыбкой Кубичев ткнул мне в лоб пальцем:

— Всмотрелся я в тебя вчера и вслушался. Дельное у тебя в голове кое-что есть. Оставайся у нас и брось думать о глупостях.

— Какие же глупости? Ни рук, ни ног у меня, можно сказать, почти нет. А рабочий без рук и ног куда годен? Баластом я быть не хочу.

— Ерунда. Подкормим, подлечим,—и опять к станку встанешь!

Я отвернулся в сторону: густо застлало глаза слезами.

Глава четвертая

Однажды я наблюдал двух недодавленных букашек. Из последних сил они пыжились выбраться из тени на солнце. Одна не добралась и кончилась, другая—осилила и вернула себе жизнь. Не сразу. Первый день она провела на солнце пол-дня и к закату солнца поползла в свою щель в деревенской заваленке гораздо легче, чем ползла из тени на солнце. На другой и на третий день она с утра и до вечера коротала время на солнце, а через

неделю эта божья коровка разгуливала по завалинке так, словно никакой катастрофы с ней и не бывало.

Такой недодавленной букашкой был и я.

Проклятая, мучительная болезнь, не оставившая во мне, кажется, ни одного сустава не пораженным, не давала мне ни одной минуты, когда бы я мог забыть, что я тяжко болен. Ни лечь, ни сесть, ни встать я не мог без того, чтобы не сжать зубов от острой боли.

Тяжелая глыба давила меня. И если я внешне не походил на смертельно раздавленную, лежащую на земле букашку, так только благодаря усилию воли: стыдно было ныть и стонать.

На людях старался крепиться, а останешься один—и стонешь иной раз, рта не закрывая: давит боль, а вдвое—безысходность: сколько же времени так? А ко всему этому еще надо прибавить горечь: я знал, что есть Крым, есть лечебницы, где людей ставят на ноги,—да только людей с карманом потолще, чем у рабочего.

В однодеревенце Василия—Козлове—были все данные, чтобы считать его за цыгана, хотя род его был истый мужицкий.

На этот счет Козлов сам делал догадки:

— В роду у нас цыган не было, а я—вылитый! Сблудила, наверно, как-нибудь ненароком мать разок-другой.

Ему перевалило за двадцать пять лет. Был он не так могуч, как Василий, но все-таки внушителен. Среднего роста, в плечах широк, грудь выпирает, словно у него за рубашкой резиновая подушка, воздухом накачанная; встанет—не на ногах стоит, а будто корневищами глубоко в землю ушел: не скоро пошатнешь! Лицо широкое, подвижное, плутоватое, дерзкое, волосы цвета воронова крыла—синевой отдают, про глаза и говорить нечего: хитрости, отваги и огня в них—любой цыган позавидует.

И хоть родился он в деревне, жил в деревне, потом в Балаханах, а придет с работы—и кажется: пришел цыган из табора и принес с собой просторы степные!

Столько в него этих просторов степных налезло! Как увидишь его, так на тебя и прет ширь степная, неоглядная, запахи степные: нюхнешь их по-настоящему разок-другой—потом всю жизнь помнить будешь!

Жестокосерд был Козлов: дать ему волю резать тех, кого он считал на земле вредными, прирезал бы он их с легким сердцем, как повар цыплят.

А глядя на меня—задумывался.

Непонятно для него, здорового, что такое болезнь; посмотрит на мои руки, ноги, и крутит головой:

— Вот чорт... вот болести какие: человека в рог гнут! Не увидишь—не поверишь, что так люди мучаются.

И он додумался. Влетел раз,—живости, движений, блеска глаз, если не целый табор, так полтабора:

— Обмозговал... Козлов обмозговал! Будь по-

коец... Завтра же везу тебя в больницу. Да не в какую-нибудь поганенькую... Захотелось на нашем заводе одной липовой голове месяца на три, а в крайности хотя бы на месяц в своей деревне побывать: «отдышусь хоть немножко», говорит, но и место терять боится. Я ему и надумал. Он—Кондратьев, вот ты в больнице и будешь лежать за Кондратьева. И зовись Кондратьевым. Бумаги у тебя будут Кондратьева, а Кондратьев только за дверью постоит, когда тебя станут в больницу принимать. Согласен?

Больница, действительно, слыла за знаменитую: «Совета съезда нефтепромышленников».

Я лег.

Больница с громким названием оказалась только рекламой. В палаты валили всех без разбора: рядом с незаразными больными—тифозных, венерических, туберкулезных, рожистых. Лечили так—помогали умереть, а не выздороветь.

До больницы я мало ел и спал, а в больнице и совсем перестал. Я медленно умирал от истощения.

Каждое воскресенье ко мне приходили Козлов, Витька и Василий. Кубичеву было некогда, и он присылал письма, подбадривал.

В первое же воскресенье Василий при взгляде на меня нахмурился. Во второе—сказал Козлову:

— Тоже... надумал. Скулы тебе за это набок своротить!

А в третье—с бешеным лицом потребовал у врача:

— Выписать моего товарища в двадцать четыре минуты! Вижу, как людей лечите: морите! Вешать вас за это мало.

И опять я дома.

Укладывает меня Василий на мою кушетку и сурово говорит:

— Ежели ты к нам попал и ежели тебе суждено помереть—помирай у нас. В больницах как хоронят? Как собак бросают дохлых. А у нас помрешь,—в лепешку расшибемся, а похороним с честью.

Умирать мне не хотелось, но и жить было не легко.

И все-таки я отдыхал.

Недодавленной букашке все лучше и лучше становилось под таким чудесным солнцем, как человеческое сердце.

Заметили,—я люблю апельсины, и с тех пор не было дня, когда бы у меня их не бывало; похвалил я однажды какой-то марки вино,—появилось и вино.

Тащили мне и Козлов, и Витька, и Василий и ворчали: мало ем, мало пью! Должен же я понять, что я один не разорю четверых, если стану больше есть и пить.

Да, я хорошо знал, кто этот «четвертый»: Кубичев. Он молчит, но я знаю, что это повторяются его слова.

С каждым днем я все больше подпадаю под влияние Кубичева.

И вот нет уже во мне песен тоски и безнадежности.

Я еще не представляю, как я вывернусь из сво-

его тесного и крепкого переплета, но когда я смотрю на Кубичева, а он подмигивает мне, рукой по плечу треплет,—верю я, что как-то вывернусь, что все для меня, в конце-концов, хотя, конечно, и не легко, но все-таки благополучно «образуется».

Это—великое искусство и великая мудрость: заставлять людей звучать созвучно себе.

... На дне голубых глаз Василия я читал неотступную заботу. Он приводил двух бабок и свирепо предупреждал:

— Ежели парню поможешь,—хорошо заплачу. А ежели так—дурака валять, водичкой для отвода глаз поить, чтобы только монету содрать,—лучше и не берись: кости переломаю!

Бабки убоялись. Нашел еще двух,—не взялись и эти. Упал духом Василий:

— Вот беда! Теперь не знаю, где и бабок искать.

Но Кубичев смеется:

— Не может быть, чтобы все исчерпались. Ищи там, где живут,—вот и найдешь. Кстати и я поищу.

Василий был обидчив. И такие словечки: «Ищи там, где живут», сказанные кем-нибудь другим, могли бы поднять его на дыбы. Но сказал Кубичев, да еще сам собирался заняться поисками бабки.

И Василий несколько дней подряд прямо с работы исчезал куда-то до поздней ночи. Являлся домой хмурый. Спрашивать—куда исчезает, было бесполезно. Только и слов в ответ:

— Мое дело.

Все-таки добился: привез пятую. Под девяносто лет. Глаз не видать—скрылись под морщинами;

Говорю, старуха: у меня не дурн.

космы громадные, и не сединой, а северными мхами отливают.

Все вместе: и страшна, и тянет к себе. Тысячелетняя глухомань: дремучие леса, мшистые болота, непроходимые топи, седые деревушки—вот откуда эта старуха-вековуха выпрыгнула.

Рот раскрыла,—красный бор вспомнился, в котором мальчуганом восьми лет заплутался: все слушал, как красный бор поет и играет. То кажется—целый хор, то—чуть слышно скрипки поют.

А когда подумалось: «Вот бы ее попросить сказочку рассказать!»—показалось, что густо пахнет сосновой смолой.

Прямо бабка заявила:

— Может, вылечу, а может, и нет. Одно знаю: облегчить сумею.

Сверлит Василий суровым, пытливым взглядом:

— А лечить-то чем будешь?

— Вестимо, лекарством.

— Лекарства разные бывают: одни—пьют, а другие—порошком принимают.

— Питье дам.

— А какое?

— Такое, какого здесь много.

— Ты у меня—без загадок. Я загадок не люблю. Мне на чистоту выкладывай: какое?

— Дешевое, касатик. Дешевле пареной репы!

Василий багровеет:

— Говорю, старуха: у меня не дури!

Улыбнулась старуха, поскребла пальцем,—ногти отпущены, действительно, как у ведьмы,—в своих космах:

Публ. библ. имени В. И. Ленина С.С.С.Р.

— Сказала: вылечить не берусь, а облегчить сумею. Ну, и верь! А пужать меня не смей! Хоть и видать тебя—хор-рош ты медведь, а я, может, из медвежьей сторонки такой, какой ты и во сне не видал.

Помолчала—и так внушительно, что все мы четверо (Кубичева не было) поверили: не балаболка старуха.

— Для всякой болести сон и еда пользительнее всего. И ручаюсь: будет твой больной и спать и есть. И копеечки с тебя не возьму, пока ему не полегчает. По рукам, что ли?

Василий больше не колебался и так бахнул «по рукам», что вскрикнула старуха:

— Вот леший! Ну, и неразумный: думать надо, куда силищу-то пускаешь!

Дала мне старуха рецепт, как составить питье: на первую четверть отварной воды чайную ложку купоросной кислоты, на вторую—две, на третью—три. Пить по три чайных стакана в день.

Это был очень острый раствор даже в первой четверти.

Второй порции я не мог осилить, но и первая дала мне огромное облегчение. С первых же дней у меня появился аппетит, боли стали терпимыми—тупыми, а сон—я в состоянии был спать по двадцать часов в сутки.

Я мог бодрствовать по нескольку часов без усилий, но если действительность хотя бы чуточку начинала меня тяготить, стоило мне в любой час дня и ночи только закрыть глаза, и через несколько минут я погружался в сон—в удивительный сон: почти без сновидений, в сон, после которого пробуждаешься легкий, освеженный.

Глава пятая

С того дня, как появилась старуха, я стал и думать по-иному. Не так, как раньше: «Ах, какой, мол, я несчастный! Какая горькая, жалкая, печальная молодость!» А просто: «Молодость? Не задалась? Ну, и чорт с ней. Можно прожить и без молодости!»

Так решил я, но еще не догадывался, что настоящая молодость только начинается. Это еще не заслуга, когда ты молод, здоров, как бык, и преодолеваешь жизнь,—преодолей ее слабым. Схватись с ней, когда тебе кажется: с чем итти на нее? Ведь пороха-то в пороховнице нету!

А подумаешь и перечувствуешь по-иному—смотришь, и порох еще есть.

Вразумлял меня на этот счет Кубичев.

Я ставил себе вопрос: как случилось, что из меня—молодого, сильного, уверенного, как бывает уверена молодость, не получившая еще от жизни крепкого тумака, сделали в течение нескольких лет никуда не годную развалину?

Проходил, как на ленте кинематографа, целый ряд лиц. Вот директоры крупных заводов и фабрик... Вот акционеры—почетные акулы, которых не скоро рассмотришь: высоко сидят и за многими стенами. Этих почетных акул я видел мало: не более полдюжины. И странно они запечатлелись у меня в памяти: лиц не помнил. Какие-то круж-

ки—вроде луны, где иногда проступают черточки карикатурного подобия человеческого лица.

Только кружки не бледного, не лунного цвета, а самого земного: лоснится обилие жира и мяса красным цветом, как у некоторых мясников—любителей пить горячую, еще живую кровь из только-что прирезанной скотины.

Конечно, не все акционеры таковы—есть и тощие фараоновы коровы, которым не может дать жира и мяса ни самая роскошная жизнь, ни самая дорогая медицина.

Но я-то видел только жирных, полновесных. И запечатлелись они у меня выпуклее не фасом, а тылом: неприятно красными, кровью налитыми апоплектическими лысинами.

А вот и хищники помельче, щуки: хозяйчики небольших заводиков и кустарных мастерских.

Вспомнилось несколько картин, которые когда-то тешили и льстили.

Выйдет к воротам завода капиталистическая пиявка, в лице инженера или мастера, вопьется острым взглядом в людей, готовых за кусок хлеба и угол отдать свой труд и здоровье, и коротко бросит тебе:

— Становись завтра на работу!

А на остальных—усталый, брезгливый взгляд: таких потертых не надо, мол...

А теперь я стал не только «потерт», а и хуже.

Мудрость, великая мудрость!

Не та худосочная, которая приходит в тишине кабинетов только от книги. Великая мудрость приходит из далекого, трудного пути, вся в пыли, в

грязи, в ранах, но не стонет, а радуется: «Я собрала большое богатство: опыт!»

И вот из опыта, как из кошницы, я извлекал свою жизнь, просматривал ее со всех сторон.

Какая система: виновных не скоро обнаружишь, а когда обнаружишь—все равно не сможешь предъявить им своего векселя!

Пауки—вне закона!

Вся сила твоих мускулов, теперь дряблых, никому ненужных, все краски жизни из твоего существа—все высосано этими пауками в прибавочную стоимость, в дивиденды.

А четыре человека, тоже представляющие собой пока не что иное, как ту же прибавочную стоимость и дивиденды, стараются внушить тебе уверенность, что ты еще не совсем выжатый лимон.

...Кубичев, когда заметил, что болезнь меня поотпустила, придумал для меня любопытное занятие. Он попросил Витьку смастерить у ворот скамейку и привел меня к этой скамейке не без торжественности. Сел рядом со мной, подумал, тихо щелкнул пальцами.

Я насторожился. Он указал мне на промысел:

— Смотри, думай, изучай. А когда поймешь эту хитрую машинку—камушком в нее своим, камушком! Лупи, не уступай. А может, и камни осилишь... А может, и глыбу сверзишь!

И я смотрел. А иногда, опираясь на палку, и бродил по промыслу.

Когда товарищи уходили на работу, я часами просиживал на скамье, впитывая в себя каждый звук этой «поганой музыки».

В десяти метрах от меня, через шоссе, лес буровых вышек.

Можно наблюдать в этом лесу любую точку: везде будет одно и то же!

С однообразным, шелестящим свистом стремительно скользят по блокам стальные канаты, жалобно звенят желонки, скрежещут натруженно лебедки, и уже совсем по-старчески охают, хлюпают, стонут дряхлые, разбитые паровые машины и насосы.

А надо всем этим надрывным хором тонко и неустанно голосят сотни металлических глоток: они больше всех остальных звуков дико режут и рвут слух.

Это сигнализируют свистки, но кажется — не свистки это, а взлетают и падают, взлетают и падают черные, злые хозяйские дозорные птицы, неустанно своим криком напоминающие рабочим:

— Эй, смотри! Эй, слу-шай!

И здесь, как и над людьми, царствует жадный дивиденд: и машинам, как и людям, нет должного и во-время ремонта.

И люди, и машины — все должно работать во имя дивиденда без остановки — до полного износа. А там — вон, на свалку!

Те же сигнальные свистки, — если бы они были покрупнее, у них был бы и звук иной: мягче. Но дивиденды, но экономия — и вот свистки крошечные, с палец тонкие, пронзительные; и кричит в них жадность хозяйская, жадность до боли, жадность до бешенства.

Где-нибудь в банках, в своих конторах крупные хозяева промыслов и акционеры говорят, конечно, солидным баском, но здесь, на промыслах, дивиденд заставляет даже их вопить фистулой.

И точно так же неустанно, как и свистки, медленно, но постоянно, на машины, на вышки, на людей падает сверху черная, липкая, жирная копоть.

Так изо дня в день, из года в год!

Рабочие говорили про эту копоть: «Наш снежок-то, балаханский!» Кубичев ее называл «манной нефтяных королей».

Балаханские модницы от этой копоти плакали: через два часа платье от «снежка» и от «манны» оказывалось все сверху донизу в жирных пятнах.

И здесь виноват дивиденд: если бы заменить паровую силу с бесчисленными маленькими кочегарками силой газомоторов или электрической — ни «манны», ни «снежка» над Балаханами не было бы.

Сотни тысяч людей дышали мерзостью годы, десятилетия, иные всю жизнь — только потому, что так выгодно было сотням людей!

... Свистки, шум машин — мертвые голоса металла. А мертвым голосам вторят живые, человечьи.

Резко, как взмахи бичей, звучат приказания и окрики мастеров, надсмотрщиков, десятников; сыплются обильно тумаки и пощечины на рабочих-мусульман, и нет дня, когда бы не случалось жуткой переклички: воет от нестерпимых побоев человек, а ему точно так же отвечает откуда-то другой.

Мусульмане — мученики промысла только потому, что толстая короста седых азиатских веков оставалась на них почти нетронутой.

Рабочих иных национальностей не осмеливались бить и увечить, ибо они частенько платили крепкой «сдачей». Но персов—персов могли бить и увечить совершенно безнаказанно сколько угодно!

Вот наиболее близкая ко мне вышка. При ней двое рабочих. Одному за сорок—тощий, заморенный. Видимых болезней у него три: трахома, сифилис и страшный, по-собачьему лающий, хронический бронхит; невидимых, вероятно, больше. А другой—молодой, необыкновенно стройный.

Позавчера им дали нагоняй, что они мало работают, и пригрозили выкинуть с работы. По уходе десятников они принялись обвинять друг друга.

Ругались долго и злобно, потом ругань перешла в схватку: катались по земле, пустили в ход зубы, рука каждого тянулась судорожно к горлу противника. И если бы их—исцарапанных, с окровавленными лицами—не растащили рабочие с других вышек, пожилой рабочий, вероятно, остался бы на месте мертвым.

Вчера они явились на работу примиренные, лезущие из кожи вон, чтобы работа одного не стопорилась ни на секунду из-за другого. Но их еще более, чем они друг друга, избили десятники за то, что работа во время их драки стояла,—а это разве барыш хозяину?

От побоев они еле держались на ногах, но при десятниках встали на свои места, а когда десятники ушли, молодой, уткнув лицо в грязную доску, плакал, содрогаясь всем своим тонким телом, а пожилой встал на колени и исступленно завыл что-то на своем языке, часто упоминая имя аллаха.

А сегодня... сегодня они вместе обедают, сложив в общий кош по фунту гнилого винограда и по фунту чурека.

Больше девяти-десяти копеек на обед они не могут тратит: в стране «Льва и Солнца», в Персии, у них остались жены с детьми, которым тоже из своего скудного заработка надо посылать.

...Можно наблюдать в этом лесу любую точку: везде будет одно и то же!

Глава шестая

Рядом с крупным нефтепромышленником Манташевым приютился маленький: всего-то на его участке шесть вышек. На бакинский масштаб—это кустарь.

Он не мог позволить себе роскоши заглядывать на промысла редко, и поэтому около этих вышек каждый день вертелся он, щеголевато одетый, средних лет грузин.

Ему все казалось, что работа у него идет вяло, что рабочие—лентяи, и с утра до вечера его участок был местом, где не умолкала раздраженная до острого бешенства брань. А за бранью часто шли в ход и кулаки: только тогда и видели передышку лица и затылки персов, когда кулаки его... опухали!

Пытался бить он и русских рабочих, но получал не раз не только основательную, но иногда и лихую сдачу, после которой необходимо было с недельку посидеть дома.

Но могло ли это его охладить? Его, с неот-

ступной тоской поглядывающего на многочисленные вышки своего соседа Манташева? Того Манташева, который не только крупный нефтепромышленник, но уже и банкир: сидит Манташев не в каком-нибудь паршивом Баку, а в столице, и слушает шелест акций, звон золота!

А что видит он—мелкий кустарь? Грязные вышки, грязных рабочих; шелест и звон каких-то жалких сотен рублей...

И нужно было видеть этого мученика, чтобы понять, как это точило его, когда он, надрываясь в тоске и бешенстве, орал на рабочих:

— А, я—кровопийца? А того не знаете, что я был бы самым счастливым человеком, если бы мог не видеть ваших поганых рож, как не видит Манташев! Бью я? А приятно мне марать руки о ваши рожи? Манташев вон не бьет: у него есть десятники, надсмотрщики. И я перестану бить, когда буду в состоянии иметь десятников. Меньше плачу я, чем Манташев... или кто там еще—Лианозов? А того не знаете, что чуть я покачнусь, так эти Манташевы и Лианозовы в десять минут приберут мои вышки к своим рукам! Обсчитываю я? А меня не обсчитывают, когда сдается моя нефть тому же Манташеву? Я знаю, что вы про меня языками треплете: плохой, мол, хозяин, жулик хозяин... Я вам покаж-жу «жулика»! Сволочи! Не я жулик, а вы жулики: вы меня обкрадываете своей ленью! Но врете,—не обокрадете. Нет... не позволю!..

Он задыхался от злобы, бешено взметывал кулаки.

— На... каждый пуд нефти... золотник вашей поганой крови выпущу, а обокрасть... а разорить себя не позволю! Не на такого... напали!

И все-таки он «покачнулся».

Стал заглядывать на свой участок не каждый день, а в неделю раз или два, да и то ненадолго. Грустный, печальный, а иногда и хуже—убитый и приниженный, как собака после побоев, посидит в конторке с полчаса, отберет сведения у конторщика о суточной добыче нефти и ищет момента ускользнуть от рабочих незамеченным.

Но это было делом трудным. Его ловили,—он ласково твердил:

— Я не банкрот, я еще не лечу в трубу... Чего пристаете? На хлеб нет? Ну, да, я понимаю... Но, пожалуйста, не беспокойтесь: временная заминка в деньгах—вот и все. Получу деньги—всем до последней копейки отдам...

Встречал неверящие взгляды и терялся:

— Вижу: вы не верите, что я получу! Мне должны уплатить деньги. Понимаете—должны! И я получу... я должен получить... я не могу не получить!

Но убеждались рабочие в обратном: летит их хозяин в трубу, неоткуда ему получать, и зорко им надо следить, чтобы не пропали их заработанные гроши, как пропадали у некоторых уже не раз.

Мало ли таких кустарей по Балаханам, мечтающих выскочить в миллионеры, но чаще выскакивающих в такие «счастливцы», у которых с Балаханов до Баку на извозчика не хватит!

А потом кустарь стал и совсем неузнаваем. Хо-

дил по своему убогому предприятию с блок-нотом и заносил в него «стоимость» каждой, даже самой ничтожной, вещи, которая уже в сущности не представляла никакой ценности: полусгнившей доски, ржавого листового железа.

Над ним смеялись, но он этого не замечал. Побледнел и выцвел кустарь, как лист осины. На ногах стал шаток: кажется, чуть подует ветер,— и он, этот лист осины, с последним, еле слышным шорохом-стоном свалится на землю.

Рабочие уже неотступным хвостом ходили за ним:

— Хозяин, плати деньги!

— Работали—плати деньги!

— Хлеба нет... жрать надо!

А у него даже не хватало силы и изворотливости скрывать положение. В его черных, больших, восточных глазах густой пеленой стояли слезы, и весь он с ног до головы являл собою жалобу, сплошную жалобу, невыразимую никакими словами.

Этому человеку казалось, что нет в мире человека несчастнее его. И он лепетал, как беспомощный ребенок, бормотал, как душевнобольной:

— Голубчики, братцы, да что я—прохвост какой! Я всем до единой копейки... Вот я записываю винтик каждый... малость каждую... Зачем?—судебные пристава... Какие грабители! Как дешево ценят, когда продают с... с... с...

Он долго не мог выговорить страшного для него слова: с молотка...

— Боже мой, я пошел с молотка! Я ли не работал... я ли не старался! Но я уйду из этого проклятого места таким нищим, у которого на суму... на суму не останется. Я не был бедным... у меня было сто тысяч. А теперь меня за долги еще посадят в тюрьму. Как вора! Как преступника! Но я ли не работал?!

Он, закрывая лицо руками, плакал навзрыд, судорожно, как истеричная женщина.

На него смотрели рабочие, свои и манташевские, и брезгливо, и с недоумением. Повидали они разных кустарей, но подобного—прежде жестокого, а потом до такой степени жалкого—в первый раз встретили.

Манташевские рабочие ему кричали:

— Сладко в трубу-то лететь?

— Отливаются кошке мышкины слезки!

— Так тебе и надо. Есть жулики, но чище тебя—трудно сыскать!

И давали советы его рабочим:

— Эй, робя, теперь не зевайте!

— Правильно! Глаз с него не спускайте, пока своих денег не получите.

— Таким как верить? Ежели они гривенники наши любят зажиливать, когда у них дела идут в гору,—так, что ж, упустят они случай зажилить сотни рублей, когда у них дела под гору покатились? Только рот разинь...

Он не обижался, будто не слышал. Может, и вправду не слышал.

И вдруг... признаки «фарта»!

Фонтан!

Глава седьмая

Магическое слово на промыслах.

Счастливец, выигравший двести тысяч, ничто в сравнении со счастливцем, у которого ударил фонтан...

Приехал кустарь на свой участок и видит большую суету. Не только свои рабочие, но и рабочие манташевского промысла шмыгают в одну из его вышек и выскакивают оттуда в сильно возбужденном состоянии.

Свои рабочие, едва завидев его, подбегают:

— Хозяин,—фонтан!

И хотя видел кустарь на лицах их неподдельную радость,—не пропадут теперь их заработанные деньги,—подумал другое: а если захотели поиздеваться над ним? Бывают со стороны рабочих и такие шутки над мелкими хозяйчиками.

Рабочие его тянут к вышке:

— Пойдем, хозяин!

— Посмотри, хозяин!

Радость забитых персов была похожа на радость голодных детей, которым показывают пряник.

А кустарь упирался и устало качал головой: зачем? К чему его еще бить, когда он и без того убит? И тряс головой: нет, он не пойдет! Он хочет одного: чтобы его оставили в покое.

Отбрыкался от рабочих. Постоял один, а глаза невольно косили на вышку.

Несколько раз медленно провел рукой по лбу, как будто что-то очень тяжело, болезненно соображая.

У этого человека мозг уже был ненадежен.

Но вдруг, точно в ногах появились сильные пружины, скачками крупного зверя он бросился к вышке. Вход в вышку загораживали двое рабочих. Одним стремительным движением он разбросал их по сторонам.

В вышке он пробыл не более пяти минут. И оттуда вымахнул скачком и сразу же зыкнул на своих рабочих: они должны стоять на своих местах, а не болтаться, где им не следует.

А рабочие с манташевского участка? Возможно, что он вспомнил, как они ему кричали, какие советы давали его рабочим.

И он вскинул высоко над своей головой кулаки:

— А вы здесь зачем? Ша, твари!

Он был страшен: в его недавно печальных, грустных, уже начавших выцветать глазах теперь светились торжество, победа, какая-то дикая животная радость, от которой люди пятятся невольно назад.

До этого он казался унылым и заморенным, но в один миг жизнь в нем ослепительно вспыхнула, как магний, и забила бурно, исступленно.

Но рабочие его не испугались. Они перед ним не попятились. Им он еще не был страшен. Один из них, улыбнувшись спокойно, ядовито, упер вызывающе руки в бока и крикнул ему прямо в лицо:

— Обрадовался? Не раненько ли? А ежели песочек с водой... или фонтанчик, да только не в твой карман, а пожарчиком на воздух—тогда как запоешь? Эх, ты, дура!

И этого было довольно: торжество в его глазах

исчезло, радость куда-то улетучилась. Он стал еще более пришибленным, чем был до этого.

Долго стоял он с понурой головой, потом робко, как чужой, находящийся на земле, с которой его каждую минуту могут вышвырнуть, подкрался к своей лошади и уехал.

Но на другой день он явился к своим вышкам раньше, чем рабочие. Пробыл весь день; истекло рабочее время, его участок опустел, а он и не думал о доме. Некормленная лошадь ржала, била нетерпеливо копытами землю.

Конторщик понял, что хозяина от этого места не оторвать, поручил одному рабочему доставить лошадь домой, а сам, хотя и чувствовал себя усталым, решил остаться при хозяине. И за ночь он мог убедиться, что для его хозяина существует в мире только одно—вышка.

На следующий день у кустаря были красные, воспаленные глаза, шаткость в ногах, но весь он был устремлен все в ту же точку—вышка!

Шла напряженная, лихорадочно-напряженная подготовительная работа.

За вышкой рыли канавы, за канавами—большие, глубокие ямы, из которых насосы должны были перекачивать фонтанную нефть в нефтехранилища.

А в вышке нужно было взгромоздить наверх и привесить на цепях плиту почти в тонну весом. Экстренно требовалось подыскать еще десятка два рабочих.

Все на участке кустаря, от конторщика до последнего чернорабочего, с ног сбивались от хлопот и беготни, только сам хозяин ничего не делал.

Украдкой, воровски он пробирался в вышку, приникал ухом к скважине и слушал, слушал до тех пор, пока его не отрывали силой и не выводили.

Он не обижался.

Ему говорили, что если он неспособен содействовать работе, так пусть хоть не тормозит ее, он с тупой и жалкой улыбкой мотал головой: да, да, он не будет мешать!

И некоторое время действительно не мешал—стоял в стороне, а его левое ухо, к которому он рупором прикладывал ладонь, тянулось, как магнитом, к вышке.

Скважина в этой вышке, таинственный гул, идущий из глубины скважины,—вот что делало его похожим на человека, помешавшегося на музыке, которую слышит только один он.

Странная и страшная музыка: она и притягивает, зачаровывает, она и ужасает.

То она наливает лицо этого помешанного невиданным, каким-то неземным счастьем, то валит голову человека на грудь, а из лица творит мертвую, безжизненную маску, где в последнем движении застыли и отчаяние и безнадежность.

Потом он от отчаяния и безнадежности точно просыпался и бежал к ведру с водой и пил жадно, как загнанная лошадь.

Его лихорадило.

В то время, когда на его участке все до последнего были охвачены лихорадкой труда, его лихорадило золотое безумие.

И так жалко и противно было это золотое безумие, что любой рабочий участка кустаря не зави-

довал в этот день тому, что он — хозяин, что у него — ожидается фонтан...

Но быть долго вдали от скважины кустарь не мог и вновь делал попытки, крадучись, по-воровски, пробраться в вышку.

Одержимый, помешанный, от которого необходимо избавиться, чтобы он не мешал вести работу. И к вечеру конторщик сделал попытку отправить его в сопровождении двух рабочих домой.

Это оказалось невозможным. Он твердо помнил, кто он, и твердо заявил:

— Я хозяин на этой земле; если я даже тут подохну — это мое дело. Никто лучше меня не знает, где мне нужно быть.

И вдруг резкий переход. Он не только помнил, кто он, но и соображал, что сам он работы двигать не может, что он в полной зависимости от других и обострять отношения с этими «другими» не следует.

Униженно перед конторщиком закланялся, униженно просил:

— Вы за меня... Пожалуйста, очень прошу: похлопочите вы за меня! Я отблагодарю... поверьте: в долгу не останусь. И рабочие... им передайте: за их старание тоже перед ними в долгу не останусь. Поймите меня... Войдите в мое положение...

Конторщик хозяина понимал. Хмуро ответил:

— Я понимаю. И все, что от меня зависит, постараюсь сделать. Я только не смогу сидеть здесь с вами всю ночь, если вы по-вчерашнему вздумаете остаться. У меня сил не хватит.

Кустарь радостно замотал головой: он останется один.

Как он провел ночь, — неизвестно: никто за ним не следил.

Но за ночь на его участке оказались убитыми двое рабочих-персов. Один старый, изможденный — мешок костей, со сморщенной, как печеное яблоко, кожей, другому — не больше двадцати трех лет. Сходство между ними, несмотря на большую разницу лет, было несомненное: отец и сын.

След от какого-то тупого, тяжелого, шарообразного предмета (вроде безмена) глубоким провалом остался у старика на виске, а у молодого на затылке. Между молодым и убийцами, очевидно, происходила отчаянная борьба: его ватная куртка валялась в стороне, рубаха и штаны были изорваны в клочья. Кустарь тер себе лоб, говорил, что он что-то видел и слышал, но забыл и никаких подробностей припомнить не может.

Трупы его смущали. Наталкиваясь на них,, он пугливо, болезненно морщился и робко просил конторщика:

— Уберите...

Конторщик объяснял, что убрать должна полиция, что об этом он не раз звонил в участок, но кустарь эти объяснения забывал и вновь просил:

— Уберите...

В полдень к нему приехал на паре тысячных рысаков представитель банка и любезно принялся перед ним распинаться: кредит банка и прочие деловые сношения с банком — все к его услугам.

Кустарь с ужасом на лице, от которого дрожал каждый мускул, указал в сторону:

— А если и у меня будет так же, как там?

... В той стороне, куда указал кустарь, несколько месяцев назад бил чудовищный фонтан: ударил, разворотил вышку в щепы и около трех недель выбрасывал со страшной силой не нефть, а песок, камень и воду!

С первых же дней десятка два вышек, окружавших «фонтан», остановились—невозможно было производить дальнейшую работу.

Но и дальше каждый новый день захватывал новые вышки. Песок и мелкий камень, обильно сдабриваемый водой, неудержимо, как из гигантской квашни тесто, плыл все дальше и дальше.

«Счастливец», владелец этого фонтана, был не какой-нибудь кустарь, а промышленник средний руки. На бакинский масштаб—делец, вертящий сотнями тысяч.

Когда фонтан, наконец, прекратил свое извержение—из всех вышек, остановившихся по вине фонтана, три четверти оказались принадлежащими другим владельцам.

«Счастливцу» пришлось, во-первых, на свой счет вывезти весь песок и камень, во-вторых, произвести ремонт всех повреждений и, в-третьих, уплатить за простой чужих вышек и за простой рабочих рук.

Промышленник разорился настолько, что выполнить всех претензий не мог.

... Представитель банка при упоминании о таком фонтане поморщился, но стал еще любезнее:

— К чему пугать себя такими страшными вещами? Ведь подобные «фонтаны» редко бывают.

Кустарь, видимо, припомнил все махинации коммерческой игры и банковских штук и возразил злобным криком:

— А раз «бывают»—почему не быть у меня? Но кроме этой угрозы, ведь еще есть многое. Вы не знаете фонтанов, которые до последнего золотника пожираются в воздухе пожаром? Оставьте меня в покое. Мне сейчас не до вас. Я очень хорошо знаю, с чем вы приехали: пользуясь моей денежной запутанностью, сунуть мне маленькую подачку, но обязать меня сдавать вам нефть на грабительских условиях. А если нефти не будет? А если фонтан окажется фигой? Я не из таких, чтобы не понимать: тогда вы мне, кроме жалкой подачки, не дадите в кредит рубля. Игра, где думают малым рискнуть, но много выиграть, со мной не пройдет!

Представитель банка не обиделся. Извинился, что приехал не во-время, и обещал заглянуть в другой раз.

Глава восьмая

Темна и загадочна подземная стихия.

Вокруг жалкого, крошечного участка, принадлежащего кустарю и оборудованнoго старьем, которое более состоятельные фирмы уже выбросили из употребления,—сотни вышек с более мощным и совершенным оборудованием.

Часть этих вышек «тартают», иногда в убыток: в желонках много воды и ничтожный процент нефти. Другие заняты бурением. Все жадно вгрызаются в глубь земли и мечтают если уж не о фонтане, так о спокойном, уходившемся подземном запасе, на котором тоже иногда вырастают нефтяные короли.

По промыслу ползет тревога и любопытство—потом уже не ползет, а скачет. Еще нет фонтана, есть пока только место, где что-то нащупано, где что-то бешено бурлит: черная ли кровь земли, которая потечет к хозяину фонтана потоком золота, или, может, только вода и газ, если не песок и камень,—а уж к этому месту не идут, а бегут вприпрыжку десятки людей. Почему-то всем хочется послушать, как с каждым ударом бура все ближе и ближе это черное сердце земли, все явственнее его буйный пульс!

Рабочие у кустаря лезут из кожи.

Так уж ведется: если фонтан—значит, перепадает от хозяина лишок. А тут тем паче: сам хозяин сказал, что не забудет стараний.

У всех лихорадка, а у хозяина больше всех.

Это окончательно больной человек с глубоко впавшими глазами и щеками, которые уже принимают цвет смерти: серо-зеленый, трупный.

Ноги его подгибаются, но сила, подобная силе при пляске святого Витта[1], неутомимо носила его на ногах.

[1] Болезнь, при которой тело человека непрестанно судорожно подергивается. (Прим. ред)

Двое персов рабочих подняли труп своего молодого земляка.

Он забегал в вышку, кружил около скважины, слушал; выбегал из вышки—кружил около. Временами казалось: он не дождется фонтана—упадет и больше не встанет.

Но он дождался. К вечеру фонтан ударил.

Фонтан не обманный!

Кустарь взметнул угрожающе кулаками и завопил дико, злобно-торжествующе, одной нотой:

— Аа-а... аа-а... аа-а...

Но крик как резко начался, так резко и кончился.

Хозяйское око заметило беспорядок,—он рявкнул на конторщика:

— Почему эта падаль до сих пор не убрана? Я спрашиваю: почему?

Конторщик, привыкший не только за эти дни, но и за недели до этих дней брать с хозяином покровительственно-снисходительный тон, почувствовал, что перед ним даже не тот крутой хозяин, каким кустарь был раньше, а еще покруче, и срывающимся от смущения и страха голосом стал было пояснять:

— Не имеем права до полиции трогать. Я сколько раз по телефону просил...

— «Просил»? У, баранья башка! Ишак глупый! Просить полицию, когда перед ней можно красненькой ответить! К чорту эту падаль!.. Довести до того, чтобы она уже воняла, чорт знает что такое! Вон туда ее... Я отвечаю!

Двое персов-рабочих подняли труп своего молодого земляка, но узнав, куда он предназначается, опустили его опять на землю.

Кустарь задыхался от ярости:

— Сво...лочи! Иша...ки! Смеете? А рас-чет? А в морду?

Рабочие низко наклонили головы и вновь взялись за труп. А кустарь от бешенства не соображал, что делал. Они с трудом поднимали эту мертвую ношу, вдруг ставшую для них непосильно-тяжелой, а он мешал: остервенело, со всего размаха вонзал носки сапог в мягкие, податливые бока трупа.

— Ша эту падаль, чтобы воздух не заражала! Ша!

Между шоссе и вышками пролегала граница: широкая и глубокая канава, опоясывающая весь промысел.

Много воды было на промысле. Тысячи желонок через каждые пять минут извергали десятки тысяч ведер в канаву, по которой вода стремительным потоком неслась в море. И тело молодого перса грубо шлепнулось в поток и помчалось по его поверхности легко, как щепка.

Сила течения не позволяла ему погрузиться на дно, и оно билось и головой и ногами о края канавы.

За молодым телом последовало старое.

— Ша!—напутствовал его кустарь и почему-то с улыбкой смотрел, пока оно не скрылось из вида.

Отойдя от канавы к вышкам, кустарь сделал жест рукой, означающий, что за одним хозяйственным распоряжением, которое уже выполнено, требуется отдать другое.

Но силы его больше не выдержали. Он пошевелил в воздухе пальцами, точно пытаясь за что-то уцепиться, и повалился.

Конторщик с минуту смотрел на кустаря, и уголки его губ дрожали от горечи и обиды. Потом вяло пошел в контору: сообщить о происшедшем случае по телефону в полицейский участок.

Через полчаса прибыл на извозчике околоточный в сопровождении двух конных городовых.

Когда трое рабочих взгромождали своего хозяина на извозчика, глаза их невольно косили на канаву. Околоточный покрикивал:

— Тише... осторожнее! А не то у меня... в оба смотрите!

Кустарь уже был на извозчике, а околоточный заслушался мягкого гула фонтана. Слушал минут пять, оторвался с трудом—со вздохом, рассеянно взглянул на конторщика и раздумчиво произнес:

— Подумать только: столько на промысле буровых, а фонтан пока бьет в одной! Вот это называется—подвезло человеку.

Глава девятая

Извозчик тронулся. По обеим сторонам его скакали конные городовые. Зачем эти городовые среди белого дня?—околоточный, вероятно, об этом не думал.

Он сидел на извозчике и поддерживал кустаря так мягко и внимательно, точно это был драгоценный сосуд, до краев наполненный еще более драгоценной влагой.

И чуть извозчик на ухабе тряхнет,—окрик:

— Ты... ты смотри у меня в оба!

На другой день кустарь приехал к своему фонтану в полдень.

Странно: только еще вчера у этого человека был страшно истомленный вид,—сегодня от вчерашнего не осталось и следа. Неестественно живой, бодрый, с румянцем на щеках, он с головы до ног казался воплощением дикой энергии.

Исключительно благоприятный фонтан: почти на сто процентов чистая нефть! Черная, густая, жирная кровь земли, вырвавшись из подземных оков, попалась в его ловушку, и теперь, претворенная биржевой и банковской алхимией в золото, потечет к нему, ежедневно обогащая его... какими кушами?

Об этом было его первое по приезде слово к конторщику:

— Давай справку!

Тот не понял—о какой справке идет речь.

— Справку, говорю: сколько в час перекачивают насосы от моего фонтана?

— Виноват, еще не справлялся. Забыл.

— Имей в виду, что я таких глупых, несообразительных ишаков... к чертям, по шее!

И пошел сам в контору наводить справку по телефону.

Вышел оттуда еще бодрее и свежее, старался итти медленно, важной поступью, но ноги его невольно пружинили, и казалось—вот-вот он заскачет и завертится в дикой радости.

Не только на его участке, но и на соседних толпились кучи зевак.

Контгорщик, почтительно сгибаясь, протягивал

ему листок с записями: номера телефонов банков и различных деловых лиц, пожелавших с ним говорить.

На лице кустаря проступило наглое, кичливое, злое самодовольство. Он отшвырнул листок и так, чтобы его многие слышали, бросил:

— Я не имею возможности говорить со всеми по телефону. Т е п е р ь слишком много таких найдется. Отвечай всем, кому я нужен: пусть ищут личной встречи со мной!

Он уже заметил, что такие есть здесь. И когда к нему подвалила толпа: комиссионеры, представители банков, агенты биржи и иностранных фирм,— он замкнулся в неприступное величие.

Его поздравляли, к нему наперерыв стремились с рукопожатиями; милостиво он едва протягивал два пальца и холодно предупреждал:

— Сегодня я не совсем здоров, и поэтому, пожалуйста, никаких деловых разговоров.

За этой толпой—другая. Такие же мелкие кустари, каким он был недавно; у большинства, может быть, так же «трещат дела», как у него трещали.

И вот он уже не величествен, а гневен. За дурака его принимают, что ли?

Кустари еще стремительнее банковских и прочих дельцов рвались с «горячими» рукопожатиями и поздравлениями, но он всех их приковал к месту одним только движением руки, точно от саранчи оборонялся.

— Нужно же додуматься: мне предлагать входить в компании, в паи? Я ни в какие компании ни с кем входить не намерен. Мне на свою рух-

лядь,—он брезгливо, широким жестом указал на свои вышки,—смотреть надоело. С сегодняшнего же дня я приступаю к хлопотам о приобретении новых участков на Биби-Эйбате, которые надеюсь оборудовать получше Манташевых и Лианозовых один, собственными силами!

Кустари поползли от него, как побитые собаки. Но к нему льстиво подбиралась уже следующая собака.

Маленький человек, с портфелем под мышкой, в мундире судебного ведомства, уже держал наготове бумаги, из которых явствовало...

Маленький человечек—умная, благородная личность. Он прибыл на промысел описывать имущество банкрота, когда признаки фонтана были еще слабы и могли оказаться обманчивыми. Некоторые судебные приставы, не принимая во внимание этих признаков, приступают к описи, но маленький человечек никогда этого не делал. Ведь это—чистейшая глупость! Зачем волновать и рабочих, и служащих, а главное—хозяина предприятия, когда он и без того себя скверно чувствует? Не лучше ли обождать некий срок, пока выяснится, что признаки фонтана оказались не фальшивыми!

Владелец «необманного» фонтана удивлен:

— Вы разузнавали, но как же могло быть, что ни я, ни мой конторщик, ни мои рабочие вас не видели!

Маленький человечек захлебывается от блаженного смеха:

— Я с первого взгляда на вас и на рабочих понял, что у вас ожидается. Осторожненько, чтобы

не быть замеченным, я выждал в сторонке, когда наступило обеденное время, и тогда пробрался в вышку и послушал скважину. Для уверенности, что здесь будет фонтан, как вы и сами знаете, данных было еще мало. Ложных признаков фонтана, как и вам, конечно, известно, сколько угодно. Но я все-таки сказал себе: здесь с описью надо обождать! Я даже не позволил себе показаться вам хотя бы затем, чтобы довести до вашего сведения, что с описью я не намерен спешить. У вас был такой убитый вид, и я хорошо понимал: вы волновались, вы мучились! Хе-хе, ведь фонтаны разные бывают. Это—во-первых. А во-вторых, простите за грубость, есть и такие: кажутся, да не высовываются. Эти уж хуже всего: всю душу вымотают. На моей памяти один такой ужасный случай был: полгода казался, да так и не высунулся! Можете себе представить что-нибудь подобное?

Кустарь представляет и бледнеет.

— Зато теперь я позволю себе от души, от всей глубины души поздравить вас с наредкость великолепным фонтаном! Такие фонтанчики судьба не часто преподносит. Говорю это вам из своего немалого опыта. Я уже здесь по этой части обретаюсь десять лет.

Кустарь растроган. Он протянул два пальца, но растрогался еще больше—протянул всю руку.

— Вашей услуги я не забуду. Сейчас у меня нет при себе чековой книжки: денька через два загляните!

Крепко, долго тряс человечку руку, сиял и вдруг нахмурился:

— Да, фонтан! Но чего мне стоило дожить до него! Когда мои дела стали приходить в упадок,— какие унижения мне приходилось переживать из-за таких пустяков, как перехватить на две недели, самое большее—на месяц, для расплаты с рабочими, двести-триста рублей! И за какие грабительские проценты! Если я вам скажу—вы не поверите...

Маленький человечек делает постное, сочувствующее лицо; он верит.

— Но... теперь на моей улице праздник! Если фонтан меня не подведет, если он—не однодневка, я покажу Манташевым и Лианозовым, как работают. Возьмите Тагиева! Что за цаца? Темный, невежественный азиат, персидский мужик, который недалеко ушел от амбала, даже теперь, когда стал миллионером и банкиром. Но если бы у меня не было фонтана, если бы я продолжал оставаться маленьким, но честным промышленником—я, человек с высшим образованием, никогда не был бы допущен даже до его передней. Уверяю вас: даже до передней этого золотого истукана!

Маленький человечек сочувственно кивает головой: он хорошо знает порядки и повадки нефтяных королей.

Но расправляется чело у будущего нефтяного короля. Он милостиво берет под руку человечка:

— Идем, посмотрим.

Останавливаются у фонтанирующей вышки. Она мягко, жирно, непрерывно гудит, как громадный шмель, и слегка вздрагивает и сотрясается.

По временам в это гудение врывается лязг и

скрежет цепей: черная, буйная кровь земли играет тяжелой, в тонну весом плитой, как мячиком. Не будь этой хитрой плиты,—фонтан разметал бы вышку. Теперь же эта кровь покорно бежит по канавам, волнуяясь, пенясь и шелестя, точно ползут огромные, бесконечные темно-зеленые змеи. Из вышки непрерывными волнами катится газ— острый, едкий: и дышать трудно, и голова кружится.

Толпа зевак не уменьшалась: уходили одни— являлись другие.

Люди, не получавшие от этого фонтана ломаного гроша, вступали в ожесточенный спор. Наметанным глазом взвешивая бегущую по канавам нефть, прислушивались к лязгу цепей и определяли:

— Сто тыщ пудов в сутки—как пить дать!

— Прибавь еще полсотни!

— Вот и дурак! Мало каши ел: все двести набегут.

— Я не дурю, а вы дурите: беретесь судить о том, чего не понимаете. Я фонтанов-то столько перевидал, столько штанов не переносил.

— Насчет штанов помолчим, а насчет фонтанов: ты перевидал, а я тоже не раз около них стоял. Значит, тоже не меньше твоего должен знать.

Одни спорили, а другие вздыхали:

— Прет теперь к хозяину деньга. Без забот и хлопот—самотеком! Только успевай огребать.

— А мы—посматривай. Есть работа—есть хлеб; нет работы—щелкай зубами. Никогда ни одной копейки про запас. А тут вон прет да прет: за один день напрет—сколько ты за всю жисть не заработаешь!

— И будет переть! Это еще что—на месяц, на два. Бывают фонтаны—на полгода, на год. Считай тогда, сколько деньги навалит к хозяину,— и не сосчитаешь.

Подобрались один за другим к вышке трое. И каждый уже по одиночке молча смотрел, взвешивал, слушал.

Кто знал жизнь промысла—легко мог отгадать: это—опытные буровые мастера, посланные лазутчиками.

Кустарь, подмигнув судебному приставу, жадно наблюдал за ними.

Эти лазутчики были для него поважнее, чем те представители банков и биржи, которые лезли к нему сегодня.

Представители могли надавать сколько угодно обещаний, сделать «блестящих» предложений,—и ничего не выполнить, если бы эти лазутчики сказали им, что фонтан не из долговечных.

Другое дело, если лазутчики скажут, что фонтан из многообещающих,—тогда он герой дня не на короткий срок. Его имя не будет сходить с уст во всех промышленных и кредитных учреждениях, от лести, от заискиваний, от кредита, от предложений всякого рода—не липовых, а солидных—у него не будет отбоя.

Его узнает весь Баку, все Балаханы: вот человек, у которого до сих пор бьет фонтан!

Лазутчики ушли, но оставили кустарю твердое убеждение, что его обогащение—не обман.

И он рос, страшно рос.

Смотрел презрительно на толпу зевак, брезгливо

и радостно улыбался: ему приятно было видеть людей, у которых зыбкий хлеб, зыбкая почва.

Ведь нет ничего хуже положения, при котором люди не знают, чего им от завтрашнего дня ждать, где они окажутся и что будут делать через неделю, как вот он не знал, что с ним будет, когда дела его стали приходить в упадок. А теперь он знает, чего ему ждать и что делать: толпа зевак около его вышки—резервуар, из которого он может, сколько ему потребуется, черпать покорную, безотказную рабочую силу!

Особняком ото всех стоял пожилой мужик. С большой бородой мочального цвета и растрепанной, как мочало, в зипуне, лаптях, онучах, шапчонке—все замазучено так, будто он только-что выпрыгнул из нефтяной ямы,—он слушал разговоры с особым, свойственным только крестьянам, видом: ухом слова не пропустит, а глазами ни на кого будто и ни на что не смотрит: глядит как будто в себя, но, однако, что ему нужно видеть— видит хорошо.

И говорить стал не спеша, с весом, вразумительно (таких не перебивают),—говорит для всех, а смотрит опять только в себя.

— А вот что вам, братцы, скажу. Мотаюсь я в Балаханах—будь они трижды прокляты!—годов двадцать. Всяко работал, какой только грязи на себе не вывозил; теперь желонщиком состою. Фонтанов тоже не мало видал. И что я думаю! Терпит, терпит земля, да не вытерпит. Непременно она эти проклятые Балаханы провалит! Черпают из нее, черпают, уж, надо полагать, не озеро ка-

кое, а целое Каспийское море вычерпали. А земля—не дура! Она пустого места не любит. У земли свой закон, и ежели ты у нее что берешь, так смотри в оба, держись в аккурате. Примерно,—роешь ты яму, потом в сторону пошел; корочку над собой оставляешь, а подпоры для этой корочки не ставишь. Ну, и дороешься: ахнет на тебя эта корочка,—вот тебе и могилка. Могилку земля и для Балаханов давно готовит. Сколько кувшину по воду ни ходить... Оно бы и лучше: маяты бы нам меньше! Нам от фонтанов не теплее. Деньги не мы с них гребем, нам прибыток всегда один: хлеб да конура собачья. А не пошел работать с недельку,—и хлеба нет, и из конуры вон! Хозяевато, конечно, знают, как петь: благодари, мол, что хлеб даю. А я вот грешным делом считаю, что и благодарить-то тут не за что. Каждый мужик свою скотину за работу кормит, а чтобы еще благодарностей с нее спрашивал—таких мужиков я еще не видал. А с нас спрашивают. Глупее скотины нас считают.

Кустарь багровел, бледнел и, наконец, не выдержал. С криком, хищно скрючив пальцы, бросился к мужику:

— Хватайте его! Держите! В полицию его!

Мужик ловко отскочил в сторону и тоже крикнул:

— А ну, схвати, схвати: без рук останешься! Одним махом отшибу. Я не посмотрю, что у тебя фонтан. А насчет вашего хозяйского хлеба вот как думаем: съел, сходил за угол... вот и весь ваш хлеб... Чего ж тут помнить? За что благодарить?

Мелькнул замазученный зипун за одной вышкой, за другой—и исчез.

А голос высокий, теноровый еще раз донесся:

— Только, сволочье, и знаете: чуть что—так полиция! Без полиции пожили бы с нами,—мы с вами тогда поговорили бы!..

Кустарь долго не мог успокоиться. Мужик колупнул в больное место.

Иногда в Баку поднимались опасения: не сдобровать Баку—скоро провалится! И многие из людей «состоятельных» во время этих опасений уезжали из Баку в места более надежные.

Но кустарь,—если бы действительно в Баку выбросили сигнал, что Баку, а вместе с Баку, конечно, и Балаханы проваливаются, что населению надлежит спасаться, кто куда может,—едва ли бы кустарь тронулся с места, где начинала восходить его золотая звезда.

Но Балаханы стоят, не колеблются, никто зловещих сигналов не выбрасывает, и кустарь постепенно успокаивается.

Фонтан его бьет, крепкий, надежный фонтан, как хорошая, сильная лошадь, везущая тяжелую кладь без рывков и запинок.

И не только бьет—он увеличивается. Подскочил искательно конторщик:

— Представьте, насосы не успевают брать—ямы переполняются! Я уже позвонил, чтобы в экстренном порядке поставили еще насосы.

Подошли рабочие его участка. Все низко кланялись, а один русский рабочий, за всех, с трудом и робко говорил:

— Эх, хозяин! Чай, сам видел, как мы старались, когда к фонтану готовились. Теперичка бы надо... наградишку бы какую рабочим и... угощение! У каждого хозяина так бывает, ежели у него фонтан ударит...

Кустарь ничего не ответил. Он не отказал: только взглянул на рабочих,—и одного взгляда было достаточно, чтобы рабочие все разом поняли, чего они могут ждать от такого хозяина.

Низко понурив головы, они пошли по своим местам.

А кустарь отдал приказание конторщику:

— К завтрашнему дню найти охрану, чтобы ни одна чужая нога не переступала нашего участка! Тут такая босячня бродит,—еще пожар наделают.

И уже совсем забылся в созерцании своего фонтана. Он не заметил, как почтительно откланялся судебный пристав, не решившийся рукопожатием отвлечь владельца фонтана от размышлений. Он стоял, и казалось, что физический вес его все увеличивается по мере того, как новые и новые тысячи тонн нефти пробегают по канавам.

Он еще не отяжелел до веса Тагиева: для этого ему предстояло еще не мало вытянуть соков из недр земли и из рабочих рук. Но он уже угрожал, что даже и без золота Тагиева он по части добывания рубля даст «золотому истукану» много очков вперед.

Глава десятая

Вечера мне часто приходилось проводить одному.

Товарищи являлись с работы позднее. Я к этому времени старался соорудить самовар.

Забегали к нам на стакан чаю рабочие с разных заводов: не только из Балаханов, но и из Черного города. Бывал даже один с завода главы нефтяных королей—Нобеля.

Маленький, сухонький, лет под пятьдесят, с таким «божественным» видом,—когда впервые увидишь, подумаешь, что он на клиросе поет и усерднее всех свечи ставит. И верно: в нобелевской церкви он пел на клиросе. Но это нисколько не мешало ему приходить к нам и пленительным баритоном говорить про Нобеля:

— Трудненько у него работу вести. Уж больно здорово обезопасил себя, дьявол: и дома у него для рабочих неплохие, и школы, и больница, и пенсию за выслугу лет дает. В сравнении с другими заводами—рай земной, а не завод. Но я, однако, не унываю. Капельки маленькие да легонькие, а большие и тяжелые камни долбят!

Другие казались такими простаками,—трудно подумать, что это—опытные пропагандисты. Просто веселые ребята, которые отбарабанили свой рабочий день, а вечером ищи их в духанах. Ребята, которые вечно навеселе и без вина ни на шаг: к нам приходят с бутылочкой и от нас уходят с ней же.

Да и у нас (на всякий случай) всегда наготове на

особом столике в углу батарея бутылок. Иногда она стоит нетронутой неделю-две, а иногда вдруг полетят пробки, зазвенят стаканы, разухабисто зальется гармошка, песни и пляски такие пойдут, что весь двор взбудоражат.

Подоткнут бабы для храбрости передники и срамят нас:

— Пьяницы! Латрыги! Вам что: холостежь—ни кола ни двора не надо. А вот нашим мужьям какую дорожку показываете?

— И не говори, Петровна! Мой-то чуточку песню послушал, а я, как на грех, на минутку отвернись: смотрю, а его уж и след простыл. Схватил шапку—и был таков. Ищи-свищи его теперь по духанам. Смутьянщики проклятые!

Бабы были правы. Не мало из их хозяйского коша уплывало рублей в духаны по нашей вине. Только одно им было невдомек: зачем во время наших гулянок вертелись на дворе у ворот дома какие-то никому неизвестные личности?

Исчезнут эти «личности»,—и у нас «гульба» стихает—переходит в тихую беседу. И странно: полчаса назад так пели и отплясывали забубенные головушки, а теперь—лица суровые, строгие. На язык туговаты, в движениях и жестах очень точные люди, будто не люди из плоти и крови, а машины.

И смелость и дерзость в них—не вспыхивающая, не отходчивая, а застывшая; попробуй машине встать поперек ее хода—не пеняй, что она искрошит тебя на части.

Отбирает у них Кубичев скупые слова, короткие замечания и заносит в маленькую записную книжку, в которой никто, кроме него, ничего не поймет. Точки, запятые, кавычки, скобки, восклицательные и вопросительные знаки, рисунки, рядом с головкой женщины (и обязательно легкомысленной и хорошенькой), карикатурно изображенные морды козлов, ишаков, верблюдов, птиц, мышей, крыс и прочей «живности».

Были и неприличные рисунки и неприличные записи: «Пятого сентября встретился на парапете с бабенкой. Сходил с ней в темный и укромный уголок. Недорога и недурна. Надо повидаться еще».

«В пьяном виде в духане раскровянили физиономию. Надо отплатить. Только вот беда: не помню, кто бил и в каком духане. Постараюсь припомнить духан и отплатить обидчику».

Мы-то догадывались, о чем тут речь.

Отдельные слова, фразы, буквы,—большие и маленькие, будто упражнения в каллиграфии.

Иные из листков в этой книжке держались долго, иные скоро вырывались.

Приходившие к нам долго у нас не засиживались. Перекинутся с Кубичевым десятком слов и откланяются.

Иногда приходили с поклажей: явились с пустыми руками, а разгрузятся, повытащат из разных укромных местечек,—получится внушительная кипа прокламаций.

Они у нас не залеживались и в тот же вечер распылялись по промыслу.

Василию, Витьке и Козлову предстояла «горячая работка». Они навьючивали прокламации под пла-

тые и учили друг друга, где и какую «смекалку» нужно проявлять.

У Василия и Козлова бывали случаи, когда на одной смекалке выехать было нельзя: приходилось пускать в ход ножи. У Витьки тоже был нож, и он тоже сгорал от желания «прирезать шпика, как барана», но едва ли это когда могло сбыться. Он был трусоват, слишком осторожен и трудных и опасных поручений почти никогда не выполнял.

Зато Василий и Козлов соперничали: чем сложнее и рискованнее поручение, тем большая жажда взять его. Чем отчаяннее положение, из которого они не только вывернулись, но и вышли победителями, тем лучше: есть, по крайней мере, о чем дома порассказать.

Они были далеки от самомнения, и если Кубичев хвалил их: «Это—дельце! Такое дельце можно внести с гордостью в список заслуг перед рабочим классом!»—они очень смущались.

А чуть до дела—азартные игроки, которых Кубичеву уже приходилось умерять:

— Прежде всего надо помнить: зря не рисковать, напролом не лезть. Так можно и голову потерять, и дело провалить.

— А чорт с ней!—равнодушно бросал Козлов.— Эка невидаль—голова? Голов и без наших с Васькой останется много.

Василий сочувственно улыбался: он согласен с Козловым!

Иногда они жестоко ссорились.

— Как хочешь, Васька: этого дела я тебе не уступлю. Ты его, как пить дать, провалишь. Посмотри на свою рожу: растяпа-растяпой! За такие тонкие штуки с такой рожей не берутся.

Василий пыхтел, краснел. Он не за «рожу» обижался, а за то, что он может «провалить».

— А я тоже не уступлю. С растяпистой рожей-то лучше: меньше подозрения. А вот с твоей рожей—хуже... Цыганская, разбойничья, жульническая. Тебя, друг, кто встретит—хоть и неловко обернуться, да обернется: как бы, мол, ножа в спину не всадил и карманов не почистил. Про тебя каждый подумает: от такого молодца добра не жди!

Они подступали все ближе и ближе друг к другу: озлобленные, возбужденные. Еще немного—и быть отчаянной схватке.

Иногда Кубичеву удавалось помирить, или настоять, чтобы шли так, как он хочет, но порой его уговоры не помогали, и он прибегал к последнему средству: к жребию. Жребию они подчинялись, и через минуту от их вражды не оставалось уже никакого следа. Разве только посмеются над своей горячностью, а иногда даже обнимутся, расцелуются и поклянутся в «вечной любви».

Они расходятся. Еще немного—уйдет и Кубичев. Он смотрит в свою записную книжку и что-то соображает. Спрашивать его—в чем дело?—бесполезно: каменный конспиратор. Он мягко, ласково, как-то особенно светло и улыбчиво прищурит глаза,—вот и весь его ответ. И обидеться нельзя. Так светлы и улыбчивы первые весенние дни.

Кубичев прячет книжечку в карман и торопливо уходит; я остаюсь один.

Хорошо еще, если он дал мне работу: сочинить прокламацию или листовку местного значения. Тогда у меня весь вечер пролетит незаметно.

Посмотрев мою работу, он обычно хлопает меня по плечу:

— Чуд-дак! Я тебе твержу, а ты все забываешь: надо помнить, что рабочему некогда читать с прохладцей. Читать он будет украдкой в отхожем месте, и времени у него столько, сколько у кузнеца на горячее железо. А кузнецы, сам знаешь, разные бывают: у одного с первого же нагрева вещь готова на пять с плюсом, а другой и с двух нагревов вещь не обварганит. Вот когда пишешь—и гадай: как бы с одного нагрева голову обработать...

Я «гадал». Задача трудная, но я не отступал. Вечер—длинный. И раз, и другой, и третий невольно вспомнишь: Кубичев, Василий, Козлов, Витька—где они сейчас?

У них—встречи с людьми... у них—жизнь, движение, борьба... А у меня—почти неподвижное, застывшее существование... Сколько оно продлится?

Я встаю. Проверяю ноги. Острой боли нет,—но как тихо я передвигаюсь, как плохо они мне подчиняются.

Нет, не скоро еще я смогу быть работником!

Глава одиннадцатая

В те вечера, когда у Кубичева никаких поручений для Василия, Козлова и Витьки не было, они сидели дома.

У Кубичева же свободных вечеров никогда не выпадало. Уходил он около восьми часов вечера, возвращался часа в два ночи. Где бывал, что делал,—для нас оставалось полной тайной.

— Действую. Стараюсь. Здоровье мое паршивое, долго не протяну—вот я и тороплюсь. А как иначе»?

Таков был его постоянный ответ, если мы к нему приставали. Давал он этот ответ с тихой, доброй усмешкой. Что ему скажешь на его «как иначе?»

До меня Кубичев еще урывал время для развития своих сожителей, потом поручил это дело мне.

Заниматься приходилось с азов политической экономии. Я отдавался этому делу охотно, но нельзя сказать, чтобы меня всегда охотно слушали.

Козлов, Василий, Витька были полуграмотными людьми, ходившими в школу по году, по два, и, кроме школьной книги, никакой иной до встречи с Кубичевым в руках не держали.

Кубичев сумел им внушить, что такая угарная жизнь—с работы прямо в духан—не жизнь, что человек, знающий в жизни только работу, еду, пьянство и сон, — не человек, а послушная капиталисту рабочая скотина.

Тянуться к человеку им было трудно, но, коечто поняв, они уже послушной рабочей скотиной быть не могли.

Прочтешь им, бывало, и видишь: этого мало. Вид у них такой напряженный,—легче бы им в гору воз тянуть.

Примешься своими словами пояснять, примерами

из повседневной трудовой жизни, сравнениями; таким путем осиливают скорее. Облегченно вздыхают, веселеют, радуются, сами заговорят и иногда приведут пример поярче, чем ты.

Но порадуются и вновь нахмурятся. Предстоит еще экзамен перед Кубичевым.

На «экзамене» наиболее способным учеником всегда оказывался Витька. Ошибался, немного путался, но основное все-таки верно передавал.

У Козлова при первом же вопросе Кубичева: «Ну, а как ты уразумел?»—цыганские глаза наполнялись удивлением и недоумением.

Тужился, силился и вдруг выпаливал с отчаянием:

— Уж так себе на ус наматывал—думал, что теперь-то уж не смажусь. А теперь, с чего начать, чем кончить,—забыл. Я ли на слова не горазд? Случая еще такого в моей жизни не было, чтобы я за словом в карман лез, а тут, на, поди,—уперся!

И не раз бывало объяснение. Кубичев спрашивал:

— Бьет со всего размаха слесарь по зубилу молотком, а сам ни на молоток, ни на зубило не смотрит,—почему? Ведь так можно и по руке, ой, как ахнуть!

Козлов без запинки отвечал:

— Не ахнет. Привык! У хорошего слесаря молоток дорогу к зубилу и без глаза знает.

— Правильно: привык! Вот и ты за словом в карман не будешь лезть, если к книжке привыкнешь. Не отлынивать надо от нее, а брать в руки почаще.

А с Василием уже было совсем плохо.

Пыхтел, краснел, обливался потом, но ни слова вытянуть из себя не мог. И, наконец, чуть не плача, заявлял:

— Кубич, ей-богу, ты поверь: может, я не все понимаю, но понимаю! Кое-что мерекаю. Только вот сказать не могу.

Кубичев качал головой:

— Опять, значит, не можешь? Обождем. Когда-нибудь и сможешь. Стараться надо—вот и сможешь. Помни: медведей—и тех учат.

Не раз Козлов и Василий меня горячо упрашивали:

— Эх, друг, по гроб жизни не забыли бы тебя: поговори с Кубичем, чтобы он освободил нас от книжки. Витьке вон она дается, а нам с Василием—туго...

— Верно!—с тяжелым вздохом подтверждал Василий.—Я после книжки как стану думать—что ж, мол, там сказано?—так у меня голова каруселью. Нам бы с Козловым другое... полегче... Тогда мы постарались бы вот как—во всю!

Их просьбы я до Кубичева не доводил. Во-первых, был бы тот же ответ: «и медведей учат»; во-вторых, я и сам находил, что Василию и Козлову подучиться надо.

И занятия продолжались.

Первым отпадал Василий. Больше пяти вечеров в месяц он не мог выдержать. Становился мрачным, подавленным, далеким от того, что я читал или рассказывал. Сидит, витает мыслями неизвестно где, и вдруг ни с того ни с сего вставит:

— Эх, чорт, на какой земле-то мы живем! Хоть бы лопух, хоть бы собашник на ней рос, и то было бы легче... Голая земля!

Посидит, помолчит и вновь заговорит:

— И никакой тебе птицы... Самая паршивая птица—ворона. Ворону везде не ища встретишь, а здесь поискать надо. Ворона—и та эту землю избегает. Поганая земля!

Если Василий вспомнил о лопухах, о собашнике, о воронах,—значит, вечерним занятиям на некоторое время крышка.

На другой день Василий еще мрачнее, его тоска еще глубже.

Не только мы, свои, домашние, но и на заводе, где работает Василий, все рабочие, даже сам хозяин знают, что его теперь «тревожить» нельзя.

Если мы его о чем спрашивали, так только в случаях крайней необходимости.

Скуп его ответ, так скуп, точно каждое слово приходится ему отдирать от языка с болью. А не спросить,—сам он не проронит за весь день ни одного слова.

Как приближается самая опасная гроза?

Она приближается издалека, сперва чуть слышно.

Так бывало и с Василием. Лицо его бледно, крепко сжатые челюсти двигаются судорожно, помимо воли, глаза—нельзя сказать «горят»: они накалены бешенством.

И жутко было нам, живущим с ним, и всем, кто в эти дни Василия видел, слышать, как он поскрипывает зубами.

Но особенно жутко становилось ночью. Спишь, и вдруг просыпаешься от какого-то тревожного чувства.

Вот ровное, спокойное дыхание Витьки, вот хрипы Кубичева—сухой, шершавый треск его больных легких, вот могучий храп Козлова. Не слышно только еще более могучего храпа Василия.

Значит, не спит, значит, надо ожидать... И ждешь—и слышишь уже не скрип зубов, а пока сдержанный скрежет. И уже не можешь заснуть.

Наутро у Василия вид: физически—измученного человека, психически—человека, стоящего на грани, откуда уже скользят от нормального к ненормальному. Лицо у него землистое, глаза провалились.

Кубичев пытливо смотрит на него, потом шопотком говорит Козлову:

— Как по-твоему — сколько манометр показывает? Не пора ли?

«Манометр»—это лицо Василия.

Тщательно исследует «манометр» Козлов: посмотрит прямо, зайдет с боков, заглянет даже в затылок. И тоже шопотком:

— По-моему—за двадцать атмосфер переваливает... Гляди в оба, а не то... Время клапан открывать.

Кубичев глубоко вздыхал, и на несколько минут охватывало его тяжелое томление: серенький он был в эти минуты, слабенький, беспомощный, будто после болезни.

И невероятным казалось, что этот человек не только отрабатывает десятичасовой рабочий день, но кроме того и вне рабочего времени еще много трудится.

За глубоким вздохом следовал решительный взмах руки:

— Да, ничего не поделаешь! Надо открывать... надо спускать с цепи...

Говоря так, Кубичев разумел пьянство дома: он опасался, что если Василий, Козлов, Витька будут пьянствовать в духанах,—они проболтаются о том, о чем нужно молчать. А кроме того, не спустить Василия своевременно с цепи—это значило попасть всем нам в передрягу.

Однажды у нас не было денег, а Василия уже прищемило в конец: в час ночи он вздумал итти к хозяину завода за деньгами.

Решая этот вопрос, он жестко тер кулаком сурово наморщенный лоб и бормотал, будто с большим трудом что-то припоминая:

— Неделя... еще неделя... До получки неделя? Нельзя... глаза вылупишь!

Упирая на неподходящий час, мы в три голоса упрашивали Василия подождать не неделю, не до получки, а хотя бы до утра, но он был непреклонен: он идет немедленно. Он не желает церемониться со сволочью, которая не считается с рабочими.

И ушел. Минут через пять вернулся: его встретил Кубичев и, узнав в чем дело, тоже нашел неудобным такой поздний «визит». Но через полчаса на Василия и Кубичев уже не мог повлиять. Вернулся Василий через час, нагруженный кульками с вином и закуской. Передал подробности своего похождения, когда уже изрядно выпил:

— Гнида несчастная: не хотел дверь открывать! Злился: стрелять, мол, буду. Выворотил я дверь,

вломился. Без разговоров, говорю, полсотни на стол! И вот она, сучья кровь, какова,—трясется передо мной, как осина, но поторговаться не забывает: «Полсотни много—не дам, а двадцать пять монет получи—и то только для тебя». Я больше и язык чесать не стал. Как ахнул кулаком по столу,—стол вдребезги,—и он больше не рипался: руки дрожат, словно петлю себе на шею накидывает, но деньги, однако, отсчитал.

Хозяин завода—кустарь, у которого и весь завод-то три десятка рабочих, — боялся Василия «пуще огня», но что бы Василий над ним ни выкидывал, он с Василием не желал расставаться. Он хорошо знал одно: Василий—работник, какого редко встретишь; в течение месяца его следует остерегаться одну неделю, а в остальные три он и тих, и совестлив: за сдельную работу ему можно заплатить дешевле всех.

Был еще и такой случай.

«Клапан» было «пора открыть», но Кубичев где-то остался ночевать, и Василий открыл его сам.

С утра пошел на работу, но вскоре с работы ушел в духан. Вечером он не явился, а ворвался домой, как ураган. Выпил он, вероятно, уйму,—столько, что хватило бы на десятерых,—но на ногах держался,—трудненько его было покачнуть.

Ни слова не говоря, он вскинул, как перышко, меня на одну руку, в другую руку схватил гитару и помчал меня в темноте мимо вышек в духан, по-звериному махая через трубы, насосы и круги свернутых стальных канатов.

Он мог споткнуться на каждом шагу и хва-

тить меня о какой-нибудь металлический предмет так, что моя голова разлетелась бы вдребезги, но что я мог ему сказать, если в это время спрашивал себя: был ли в мире хоть один человек, который властью слова в силах остановить ярость урагана?

В духане Василий заставлял меня петь, играть на гитаре, плакал, ломал столы, бил бутылки,—и никто ни слова: все знали, как опасно ему противоречить. Только хозяин духана потихоньку покачивал головой: убыток, но что же поделаешь?

Глава двенадцатая

«Клапан открывался» торжественно.

Кубичев резко щелкнул пальцами и с широким-широким жестом сказал:

— Ну, Вася, разрешим!

С утра до вечера весь день ушел на приготовления. Василий ездил в Баку за цветами. Козлов занимался покупками. А мы трое приводили в порядок комнату: мели, чистили, мыли, скребли.

Вечер. Все мы по-праздничному одеты, по-праздничному умыты. В этот день у нас уходило воды и мыла больше, чем за всю неделю.

По углам, на столе, на подоконниках у нас расставлены цветы. К ним все относятся бережно, любовно, стараясь не зацепить, не помять. Вид у всех сосредоточенный, углубленный: ни смеха, ни шуток. Особенно выделяется Василий: он тих, и радостен и печален.

С цветов и Кубичева он почти глаз не сводит.

С первых потому, что очень цветы любит, со второго—потому, что тосковал Василий о лопухах, о собашнике, а Кубичев нашел, как хоть немного беде Василия помочь:

— Раз в месяц можем позволить себе роскошь.

Последний момент: Кубичев поднимал рюмку и произносил медленно, раздумчиво:

— Ну, товарищи...

Другим эти два слова не сказали бы ничего,—для нас они обозначали многое. Этот чахоточный человек со впалой грудью, с мягкой, неотразимо-покоряющей и никогда почти не сходящей с лица доброй улыбкой был в этот момент строг, необычаен. Он не видел ни нас, ни нашего логовища. Взгляд его был устремлен далеко за стены нашего жилья и горел вдохновением вождя.

Всего-то в нем—кожа да кости, а казался в эти моменты несокрушимее гранита. И если бы у него отнять это напряжение воли, он, вероятно, сейчас же повалился бы, как подгнивший столб.

Но нельзя лишить человека огромной силы, которую он сам смог вместить в себе.

Он выше поднимал рюмку. Переводил глаза на нас и, обдавая светлым взглядом, тихо произносил два слова: «Мы победим!»—и эти два слова звучали для нас громче всяких труб и литавр.

И долгое после этого наступало у нас молчание: как-то неловко было двигаться, как-то неловко говорить.

Потом начинали звякать бутылки о стаканы. Особенно часто у Василия и Козлова.

У каждого рабочего от условий труда—язва, но

у них она особенная: воспаленная, как у непримиримых бунтарей. Недаром они родом с «матушки»-Волги, и наиболее любимые ими песни—о Волге, а рассказы—о Пугачеве и Разине.

Они хотят уйти от того, от чего уйти нельзя.

«Хозяева» иначе не представляют себе рабочего, как быком, перед которым всегда надо помахивать красной тряпкой.

На работе—красная тряпка, дома, где рабочий думает иногда отдохнуть, забыться—то же самое.

У нас в роли красной тряпки—маленькая жестяная лампочка, и свет от нее скупой, унылый, похоронный, как в склепе.

Призрачными, неживыми кажутся в этом свете человеческие лица, призрачными, обманчивыми кажутся цветы.

Для Кубичева и для меня ясно, что по условиям своего жилища мы обречены на этот скудный и тяжелый свет, но для Василия, Козлова и Витьки—это неясно. Они несколько раз покупали дорогие, с большим светом лампы, но лампы эти больше нескольких дней у нас не держались.

Была виновата комната,—маленькая коробка с низким потолком, до которого свободно доставал рукой самый низкорослый из нас—Витька.

Для лампы оставались только стены, но как Витька, Козлов и Василий ни мудрили, на какую стену лампу ни громоздили,—она все-таки оказывалась не на месте.

В жилье, годное для одного, от силы двоих, втиснуто пять человек; на стенах, чуть не сплошь утыканных гвоздями, болтаются штаны, фуражки,

пиджаки, полотенца, а у кокетливого Витьки еще и зеркальце. В таком помещении как бы мы ни старались быть осторожными, но наши головы, руки, плечи, спины будто всегда искали случая сокрушить злосчастную лампу.

И сокрушал чаще всех громоздкий Василий.

Проще и дешевле было бы, как советовал Кубичев, дать добавочный свет к маленькой лампочке свечами, но наиболее ярым противником свечей был все тот же Василий.

И когда от выпивки Василий и Козлов доходили до надлежащего градуса, они, прежде всего, заводили речь о нашем свете и о свечах.

С едва сдерживаемым бешенством они смотрели на лампочку, которую называли «копчушкой». Трудно было им в это время доказывать, что воевать с копчушками не следует, что на место одной копчушки неизбежно явится другая.

— Нн-но!—грозил им Кубичев пальцем:—Глупые вы ребята! Как вы до сих пор не поймете, что дело не в глупой, ничтожной жестянке, а в системе? Система у капиталистов по части выжимания пота у рабочих жадная, злая, и если вы хотите, чтобы у рабочих, вместо коптилок, был настоящий свет, и для жилья не коробка из-под сардинок, а настоящее, подобающее человеку помещение,—для этого нужно бить не коптилки, а опрокинуть капиталистов с их системой вверх тормашками. Грохнуть так, чтобы они никогда уже не поднялись!

У Василия и Козлова глаза становятся страшными, бредовыми...

Грохнуть капиталистов? Да, это хорошо бы... Они бы уж грохнули! Да только когда же? Надо ждать неизвестно сколько времени, а вот копчушка не ждет: она здесь, режет глаз, раздражает ежедневно.

Василий и Козлов посматривают на копчушку: смяли бы они ее, раздавили, стерли бы в порошок, если б их воля. Потом они смотрят друг на друга и свирепо, как раздраженные быки, мотают головами. Долго молчат, наконец говорит Василий, а Козлов жадно его слушает:

— Эх, Кубич, зря ты нам не велишь, ей-богу, зря! В каждой паршивой буровой есть электричество, а в рабочей квартире—почему нельзя? Уж не ахти как обедняли бы, ежели бы по лампочке провели. Поэтому-то вот, хоть убей меня, а свечей я покупать не буду. Будет скорее всего вот что: терпим, терпим мы с Козловым, да не вытерпим! Подберем себе на подмогу головушек пяток удалых, в один час... да когда еще норд-ост поддувает, подпалим это поганое место с разных концов—вот это Балаханам и будет наша рабочая свеча... Хоро-шая свеча: всем будет от нее светло и жарко!

Порывисто, горячечно кричал Козлов:

— А и что в самом деле!.. Людей много погорит? Ну, и пусть. Люди, все равно, не живут, а мучаются, не горят, а дохнут. Грех на душу возьмем—и сами за него заплатим: сделаем свое дело—и сами в огонь бросимся. Получай, значит, кровь за кровь. Зато всех этих дьяволов, что на нашем горбу уселись, в трубу пустим. Были, мол, у нас Балаханы, хорошо кормили, да... сплыли!

На память один пепел остался. А подует ветерок,—и с пеплом распрощайся! Так, что ли, Кубич, а? Ну, говори?

И Козлов уже широко отвел в сторону руку,—точь-в-точь цыган, который весь пылает от нетерпения поскорее «ударить по рукам».

Но Кубичев спокоен. Кубичев смеется.

— Глупые вы ребята! Умнее ничего не придумаете?

И долго, уже не в первый раз, он с таинственным видом сказочника (опасается, как бы и у стен не оказалось ушей) рассказывает этим взрослым ребятам сказку, которая должна стать былью. Сохранять орудия производства не он, Кубичев, велит, а великий человек—Карл Маркс. Кубичев ярко рисует, как пышно и богато живут теперь Тагиевы, Манташевы, Нобели, Лианозовы и как горько им придется, когда рабочие прогонят их от орудий производства.

Только раз Василий и Козлов осмелились не поверить этому. Взглянул Василий на Козлова и спросил:

— А не кажется тебе, что Кубич-то выдумщик?

Не сразу ответил Козлов, но ответил твердо:

— По-моему тоже—выдумщик! Не поймешь, как это так: то были хозяева, а то—нет. То они над нами, то вдруг мы над ними. Спалить Балаханы—это я понимаю. А как мы можем быть хозяевами над Балаханами—этого не пойму.

Долго и ласково смеялся Кубичев. И, смеясь, смотрел в глаза Василию и Козлову.

— Я выдумщик? Чудаки вы. Больше того, что

в человеке есть, выдумать нельзя. Не знаете вы этого, поэтому мне и не верите.

И ему поверили.

Страшное, навязчивое, бредовое в глазах Василия и Козлова сменяется жаркой, сияющей мечтой. Они пьют за то, чтобы скорее это времячко пришло, и спорят.

Козлов кровожаден. Под мягкое место коленом от орудий производства—для него этого мало: вырезать это проклятое семя надо так, чтобы его духом на земле не пахло!

Василий тоже не прочь порезать, но держится точки зрения Кубичева:

— Отобрать у них все—до последней рубашки. Становись, паршивый чорт, рядом со мной голенький и зарабатывай и на рубашку, и на хлеб. Не хочешь,—подыхай с голоду. Одним словом, поступим так, как с нами поступают. Но врут, гниды: голод—не тетка! С ним не поспоришь. Будут работать, а мы над ними посмеемся: каково, мол, анафемы, в нашей рабочей шкуре-то быть—сладко? Это для захребетников выйдет помаятнее, чем вырезать. Вырезать—что: чик—и готово! Нет, ты пострадай на земле так, как мы страдали, а тогда мы с тобой говорить будем.

Витька за Козлова: резать—и больше никаких!

Они спорят, а мне грустно, больно: я—инвалид, калека, выведенный надолго из трудового строя. А скорее всего я не доживу до того дня, когда громом грянет боевой клич рабочего класса, а если и доживу,—чем я смогу помочь «делу рабочей руки» в этом великом бою?

Но рядом с грустью и болью поднимается во мне большая, певучая волна... Все шире, все выше.

Для Кубичева человеческие переживания—как открытая книга. Когда я говорю себе: «Спеть бы»,—он подает мне гитару.

— Ну, смастери, смастери! Когда ты под настроением,—у тебя хорошо выходит.

Похвала Кубичева для меня выше всего. И я пою.

Обыкновенные, миллионы раз петые до меня песни (революционные песни Кубичев петь запрещал), но что я в это время вижу!..

Оттого, что моя язва больнее, чем у других, познал я, как немногие, всю боль рабочего класса, и звучит во мне эта боль его прошлого, настоящего и его вера в будущее.

Пусть я плачу и о том, что я раздавленная букашка и о слезах тех пролетариев, которые плакали, и тех, которые будут плакать,—это пьяные слезы, которых я не стыжусь!

В этих пьяных слезах я познал: живет в мире человек и умирает, но та музыка, которой он жил,—горе и радость,—она не умирает, она бессмертна!

И если мир для большинства—место горькой юдоли плача и скорби, его надо переделать в место радости.

Слезы пройдут. Слезы высохнут.

На меня уже катится волна жгучей радости, огненного, испепеляющего гнева: «Эй, вы, захребетники всех ранов и положений, в свою дьявольскую музыку вы забыли внести ноты о лопухах,

о собашнике, о воронах! Чем хуже—тем лучше Чем жестче—тем скорее ваш конец!»

Смутно, как в тумане, я вижу: задумчивы Козлов и Витька, плачет Василий, сидит, понурив голову, Кубичев.

Глава тринадцатая

А на второй и третий день к нам вползало житейское, обыденное. То, от чего не отмахнешься.

Так случилось в декабре.

Днем была у нас «нетолченая труба»: приходили знакомые рабочие, приводя с собой незнакомых,—отказа никому не было.

Много пели, плясали.

Особенно веселы были Витька и Козлов: днем они предвкушали то, что должно быть вечером.

Вечером мы испарялись от своих друзей дня на два. Уходил Кубичев, вслед за ним я к одному рабочему в своем же дворе, а к Василию, Витьке и Козлову являлись возлюбленные.

Но на этот раз Кубичев забыл, что ему надо уйти, а напомнить ему никто не решался.

Так же скупо и уныло, как всегда, горела вечером «копчушка», но Василию, Козлову и Витьке казалось, что она горит еще тусклее, чем раньше.

Они так старательно уставили стол вином, закусками, сластями, цветами, а теперь смотрели на этот стол равнодушно, как на ненужное: все это приготовлено для женщин, которых... пока нет!

Поглядывали часто на Кубичева: когда же он, наконец, вспомнит, что он здесь лишний?

Держали шопотом совет: не отправиться ли в город?

То, что извозчика вечером им на промысле не найти и придется шагать километров около пятнадцати до Баку по степи,—это их не останавливало; не пугали их грабители, которые в степи по ночам особенно свирепствовали.

Самая дешевая вещь, которую они не боялись потерять, была у них—голова.

Город был не принят по другим соображениям. Здесь, на промыслах, были свои, хорошо знакомые, привычные женщины, которые «не подведут» и с которыми можно проводить время в своем углу, а в городе—незнакомые женщины, незнакомые углы.

Василий первый решительно заявил:

— Не пойду! За свои же деньги да еще заразишься. Навесит какая-нибудь стерва тебе «часики»,—вот тогда и ходи и смеши людей...

Вздохнул Витька:

— Да, конечно... За семь верст киселя есть! Где такую найдешь, как Любка? Да за одну ее пляску—отдай все да мало! Мертвого с собой плясать подымет.

Вздохнул Козлов:

— А такую где найдешь, как Катька? Запоет,—от души все отляжет.

У Василия женщина не отличалась никакими талантами, да и не поклонник он был женщин, хотя бы и с талантами. Он презрительно усмехнулся:

— Одна поет, как все, другая пляшет, как все. Чего разводите-то? Плюнуть да растереть—только

и всего. Нельзя баб сегодня привести—приведем потом. Не ахти какая важность,—можно обождать!

Витька с Козловым думали иначе.

Не умолкая, рвал и метал, норд-ост. И хотя в кухне с ровным, легким, убаюкивающим гудом горела нефть, докрасна накалив плиту, и в комнату непрерывной волной шло тепло, все-таки было зябко и сыро.

Скверная, дешевенькая, рассчитанная на тропический климат, а не на климат Баку, постройка во время дождей пропускала сырость, а в зимние месяцы из десятков щелей, сквозь тонкую досчатую дверь, из-под пола, с потолка, из окна—отовсюду с воем и свистом врывался норд-ост, наметая кучи песку.

Послушал Козлов норд-ост,—выругался и тоскливо мотнул головой:

— Витя, где живем-то, а? Куда закинулись наши головушки? Сгармонь-ка с горя!

Витька, тоненький, ниже среднего роста, с худосочным лицом, на котором странно и забавно вытянулся вздернутый носик, будто он всегда и все обнюхивает, и без напоминаний Козлова чуть уже не скакал.

Сам он был маленький, а гармонию имел большую, как короб, сделанную на заказ. Ладов в ней было пропасть,—не скоро сочтешь, а прилипали они к Витькиным пальцам как будто сами.

Сам был слабенький, щупленький, а любил играть марши боевые, громозвучные. Если не видишь его—думаешь, что машина какая громыхает басами, а увидишь—в еще большее удивление придешь: гномик, ноги по-турецки сложены, туловище в комочек сжалось, худосочная мордочка в сторону от гармонии откинута, а воинственного пыла на этой мордочке на десять богатырей хватит!

Привычным жестом закинул Витька ремень от гармонии за плечо и прорепетировал куплета три «саратовской».

Басы ревели, ухали; им вторили заливчатые соловьи и хор разных пичужек—задорных, звонкоголосых.

И чижи, и щеглы, и зяблики, и малиновки; тут и синица щелкает, и снегирь гукает—весь певчий птичий мир, которого всего не упомнишь, но про который Витька, гордо тыча себе пальцем в ухо, говорил:

— У меня вся птица тут поет. Она поет, а я ей: пожалуйте на гармошку! Ну, и подбираю. До тех пор не успокоюсь, пока гармошка птичкой не запоет и не зачирикает. Я около леса, на огороде рос!

Хорошо играл Витька и петь любил, только петь ему не давали.

Прорепетировав «саратовскую» и оставшись удовлетворенным, он кволым, надтреснутым фальцетиком упоенно затянул:

Грудь болит, язвит забота:
Гибну, гибну, мальчик, я...
Будь ты проклята, работа,
Будь ты проклята, тюрьма.

Козлов поморщился. Остановил:

— Ты, Витя, не пой. Ты только сгармонь получше—жару побольше, а я спою.

Заиграл Витька, а Козлов «с чувством» повторил куплет.

«Саратовская» сразу настроила Василия на грустный и печальный лад. Встал перед Витькой, устремил взгляд на непостижимо быстро и гибко скользящие по льдам пальцы,—не человек, а истукан.

Ноги слоновьи, руки длинные, с такой страшной, могучей пятерней—не человечья пятерня, а лапы гориллы. Мускулы угрожают дикой, первобытной силой.

А лицо, когда он был грустен и печален... Чистое лицо, застенчивое, наивное, как у некоторых детей. Голубые глаза тоже по-детски ясны оттого, что они очень велики и кротки—глаза хорошей, смирной коровы, про которую никогда не подумаешь, что может она рассвирепеть и поднять на рога.

И печально поддакнул Василий Козлову:

— Верно, земляк, верно! Разве у нас работа? Правильно: тюрьма! И самая поганая. Такой тюрьмы еще поискать.

Метнул Козлов на Василия горящий взгляд, тряхнул головой и с дикой, исступленной цыганской удалью запел:

> Если б знала мать родная—
> Не родила бы меня...
> Мама, мама дорогая,
> Где же гибну — чахну я?..

Этот куплет Василия привел в буйный восторг. Со слепой, безудержной силой он ударил кулаком по подоконнику; задрожали не только рамы, но и вся наша комнатушка точно подпрыгнула.

— Это что же, земляк? Этого я что-то не слыхал от тебя раньше!

— Сам сочинил,—гордо бросил Козлов,—на-днях на душе кошки скребли, ну, я и укомарил!

— Сам?—и Василий полез к Козлову целоваться.

Поцеловались несколько раз крепко, размашисто и подошли к столу выпивать.

Около стола, загроможденного бутылками и закусками, сидел Кубичев.

— Друг милый, Кубич ты наш драгоценный, налей по баночке! Выпьем за Козлова. Ловко уж очень сочиняет...

Кубичев, державший в руках листок от календаря, взглянул на стены, на которых от когда-то бывших обоев болтались позеленевшие от сырости клочья, на пол, уже загрязненный и усеянный окурками, и, покачав головой, с усмешкой сказал:

— От такой жизни будешь сочинять. Живем скверно, а нас мудростью поучают. Это вот для нашего брата рабочего в календарях печатают: «Побеждай гнев кротостью, зло добром, скупого дарами, лгуна правдой». Когда читаешь такие штучки, выругаться хочется.

— Я за тебя!—гаркнул Василий и, отпустив десятка полтора тяжеловесных словечек, заключил:— Лучше выпьем, чем об этом говорить. Душа не терпит: так бы всех сукиных сынов вдребезги и расшиб!

Пили водку чайными стаканами. Наскоро закусывали.

И опять гармошка в руках Витьки встряхнулась под крики Козлова и Василия:

— Разделывай саратовскую!

— Нашу родную, волжскую!

Пел Козлов, и в его глазах, таких иногда веселых и живых, стояли слезы, и вспыхивали зловещие огоньки бунта и мести.

Пел Василий,—и добрая корова постепенно превращалась в недоброго быка.

Витька по временам бросал гармошку, горько плакал и жалостливо уверял:

— Вы не верите, что я брошу эту яму? Брошу! Не хочу здесь погибать. Уеду к себе на Волгу, в Сызрань, женюсь и заживу порядочной жизнью!

Его не слушали: он уже об этом говорил года два.

Он несколько раз собирался уехать, брал расчет и оставался: он благоговел перед силой и дерзостью Василия и Козлова, и это благоговение было сильнее мечты о «порядочной жизни». Дальше вокзала он не мог уехать. Его, конечно, провожали, проводы «вспрыскивали». Выпив, Витька влюбленно смотрел на приятелей, хмурился, потом таял окончательно, лез целоваться и изливался:

— Эх, и богатыри вы! Люблю таких. А мне... ну, куда мне торопиться? Жениться? Так еще десять раз успею. За этим дело никогда не станет. Я любой девке разок-другой вальсы и романсы на гармошке выведу,—ну, и моя. Бери голыми руками! Вот еще поживу, годик-два с вами—тогда и айда в Сызрань!

Поплакав немного, Витька опять принимался за

гармошку и «разделывал» «саратовскую» не только, насколько хватало его сил и уменья, а с упоением: он знал, чем кончается «саратовская», и предвкушал этот «конец».

Василий, слушая Козлова, который припевов к «саратовской» знал множество, то грозил кулаками туда, за стены нашего жилья, уснащая угрозы потоками отборной брани, то вдруг, не в такт гармошке, свирепым басом гремел:

Мама, мама дорогая,
Где же гибну—чахну я?.

Если вспомнить фигуру Василия, то поймешь, что тут нельзя было не смеяться.

Кубичев сидел,—то поникнет головой, то подними мет мутный, пьяный взгляд,—бормотал:

— У всех тоска... У всех обида... У всех страх перед жизнью... Нехорошо... нехорошо!

Махал рукой, и из слабой чахоточной груди летели надтреснутые крики:

— Но... к чорту! К чорту! Милые, родные... ох, и пить будем, и гулять будем!...

Выпьет, поникнет головой, потом вновь поднимет ее:

— Я не за себя... моя песенка спета... моя дороженька одна... Я за всех: против капитала надо бороться! К чорту эту нечисть из жизни... Да, к чорту! Витя, марш!

Над маршами Витька всегда старается, а если к тому же просит Кубичев,—готов в лепешку расшибиться.

Василий и Козлов маршируют по комнате. А так как маршировать негде, получается толчея на

месте, сопровождаемая топотом ног, угрозами и крепкими словечками по адресу хозяев промысла.

А Кубичев махает руками—дирижирует.

Пьяно, угарно, бестолково!

Кубичев обычно пил немного, но от Василия и Козлова я знал, что он иногда «прорывается».

При мне он так «прорвался» в первый раз.

Чувствовалось всегда, что у этого человека есть глубокий надрыв.

Кто он?

Он был не из таких людей, о которых можно выведать что-либо у них же самих. О себе он только раз проговорился, что приехал в Баку из Ростова.

Конечно, я догадывался, что Кубичев—не настоящая его фамилия: фальшивка, каких он, может быть, переменил уже с десяток.

Жажда узнать хоть какую-нибудь мелочь из его прошлой жизни была у меня велика: при всяком удобном случае я пытал всех соприкасавшихся с нами. Но или все знали о нем столько же, сколько и я, или скрывали, что знают. Только один человек, да и то под честным словом—никому не передавать, рассказал мне о нем нечто: коротенькое и страшное, простое и невероятное по человеческой подлости.

Явился Кубичев в Баку лет пять назад с очень красивой молодой женой. И сам молод—тридцати лет, строен и красив. Был непьющим.

Через полгода его хорошо знали не только рабочие Баку и Балаханов—его, человека, шагающего по рабочим районам изо дня в день глубокой ночью, знали и не трогали все грабители.

А еще через полгода его жена, недовольная бедностью и образом жизни мужа, ушла к армянину-нефтепромышленнику.

Кубичев не сердился на жену:

— Молода, глупа. Раскусит богача—вернется.

Но жена не вернулась.

Месяца через три армянин стал ее гнать обратно к мужу. Но к мужу она не пошла, а пошла в петлю.

У армянина наклевывалась невеста с богатым приданым, но смерть жены Кубичева была настолько скандальна, что невеста от него отказалась.

Обозленный жених счел, что если он похоронит свою жертву сам, то оскандалит себя еще больше и... отправил ее труп с некоей суммой денег на похороны к мужу.

Кубичев жену похоронил, а с «некоей суммой» в одном кармане, с револьвером—в другом отправился к армянину на «объяснение».

Но объясниться не пришлось: нефтепромышленник понял, что он сделал что-то неладное, и... исчез из Баку.

После этого у Кубичева наступил перелом: он запил. Пил целый год, опустился до того, что не имел угла: была у него только войлочная кошма, на которой он проводил ночи около духанов.

Потом оправился и пил помногу редко: когда срывался с какого-то своего стержня.

Теперь это был человек под тридцать пять лет, но ему можно было дать за полсотни.

Видимыми знаками на память о прошлом у него остались—туберкулез и войлочная кошма, на кото-

рой он спал, никогда не соглашаясь заменить ее постелью.

Глава четырнадцатая

Около одиннадцати ночи Василий «намаршировался». Никогда еще при мне с такой звериной силой не скрежетал он зубами. Добрая корова превратилась в быка, который с ног до головы — исступленная ярость.

Он по-бычьи мотал головой и командовал:

— Витька, забирай гармошку! Козлов, айда в поход!

Из слезливого нюни Витька вдруг стал героем. Закинул гармошку за спину и стоял перед Василием, через край наполненный петушиным задором.

Тоненькая фигурка его вытянулась в ниточку, на худосочном лице выступила краска, глаза сияли нездоровым блеском: хронический наркоман, получивший, наконец, долгожданную дозу.

Козлов стал искать куда-то затерявшуюся шапку. Василий метнул на него бешеный взгляд и рявкнул:

— Жи-во! А не то... Меня, что ли, Ваську Богданова, не знаешь?

Пугливо, как заяц, метнулся Витька; тоже бросился искать шапку Козлова.

Козлов только покосился, но выражение глаз и задрожавшие руки подсказали, что в некоторые минуты даже он сильно трусит перед Василием.

Один Кубичев не боялся Василия. Уставился на него пьяными, мутными глазами и по-матерински мягко выговаривал:

— Вася, нехорошо... Вася, нехорошо! Зачем обижать?

Василий заколебался. Мрачная, бычья решимость исчезла. Опять у него были кроткие, большие, добрые глаза, а лицо чистое, прямодушное, изумительно помолодевшее, лицо ребенка.

Он теребил полу пиджака, как смущенный ребенок рубашонку.

— Ну, что тебе, Кубич? Право... Невмоготу, руки чешутся—вот что! А насчет обиды? А нас не обижают? По горло обидами сыты. Ну, и думаешь: тебе ли кто черепок пополам, или ты кому—все равно: меньше на земле человек маялся! Возьми, Кубич, еще то: скоро мне воинскую повинность придется отбывать. Царю и отечеству, значит, буду служить. Почему же мне годок перед царской службой не погулять? Она ведь, говорят, не сладкая. Очень не сладкая!

И вновь лицо его искажалось гневом, одна рука злобно сжималась в кулак, пальцы, другой угрожающе, будто хотят что-то схватить, шевелились в воздухе.

— «Царю и отечеству»! Выдумают словечки... Я в Симбирске пять лет в ученьи чуть не даром протрубил. Да и учили-то чему? Два дня в неделю тому делу, которому хочешь выучиться, а четыре—грязь какую-нибудь выгребаешь или дрова, как лошадь, возишь. А побоев от мастеров уже не считаю: все равно не сочтешь! Теперь—здесь. Это—работа? Стоишь у станка, а тебе со всех сто-

рон—и в зашеину, и в морду,—ветер, с песком и снегом. За станок взяться нельзя: лед. Машину хоть какой плохонькой крышей прикрыть надо, а человека даже рогожей по бокам защищать не надо? Ладно, мол, и так обойдутся, не баре какие! Это в своем отечестве! И этому отечеству я должен служить «верой и правдой»! А ты, Кубич, говоришь: «нехорошо». С нами-то хорошо поступают?

— Нехорошо, нехорошо!—продолжал стоять на своем Кубичев:—Кому обида,—ведь своему же брату рабочему?

И словно у него вдруг сильно заболела голова: крепко стиснул ее обеими руками и закрыл глаза.

А Козлов тем временем разыскал шапку, вытащил из-под кровати две железных увесистых палки, одну из них передал Василию, подмигнул Витьке, и все трое, ступая по-кошачьи к двери, попытались было ускользнуть от Кубичева.

Не удалось. Кубичев загородил им дорогу:

— Вы не пойдете!

До Кубичева такого рода похождения Василия и Козлова по промыслу были часты: в духанах передавались легенды, рисуя этих двоих симбирских медведей непобедимыми. Против них составлялись артели по два, по три десятка человек—и все равно будто бы бывали всегда биты.

Во двор ворвался и особенно зло, с ревом и с визгом закрутился норд-ост.

— Нет, Кубич... как хочешь—сердись, не сердись... а отпусти нас!—медленно, с расстановкой произнес Василий. И вдруг перешел на крик, напоминавшей рев тяжело раненого зверя.—Точки нет... Вот ежели укажешь, Кубич, нам: где точка?

— Правильно!—поспешил подхватить Козлов.—Точки нет... отдохнуть не на чем... Где мы живем? Куда наши головушки закинулись?

И в сравнении с этими двумя басистыми, свирепыми голосами казалось, что пищит мышь:

— У меня в Сызрани точка была... Люди в кабак, а я с гармошкой в огород! Смотрю на лес... птичек слушаю. И радости-то сколько, радости-то! А играть начну,—прямо голова кружится; не пойму: откуда из меня такое прет?

И было потом долгое-долгое душное молчанье!

Ни один не решался посмотреть в глаза другому, ибо боялся увидеть там то, что стояло в собственных глазах.

А стояло во всех глазах: гудит, ревет, визжит норд-ост по промыслу, и нет в Балаханах угла, где бы людей не томило, не мучило, не доводило до слез и до отчаяния вот такое же душное, безысходное молчание, как у них, ибо ни у кого нет «точки», на которой можно было бы отдохнуть.

Тяжело, грузно топтался на месте Василий. Лицо его густо пылало, глаза налились кровью.

Кубичев сказал твердо:

— Вы не пойдете. Кому обида—своему же брату рабочему? Не допущу! Раздавите меня,—тогда можете. А пока жив—не допущу!

И сразу всем стало стыдно.

Козлов ловко убрал железную палку за спину; Витька быстро ссунул гармошку со спины на по-

стель; только Василий не знал, как ему поскорее скрыть свой грех: мучительно торкался со своей палкой по углам, но куда бы ее ни ставил, она все осталось на виду. Дело не тяжелое и не мудрое, а вспотел Василий и с умоляющим взглядом обратился к Козлову. Козлов просто спрятал палку на прежнее место—под постель.

Кубичев, только-что севший, опять вскочил. Виноватое лицо, виновато трясет головой, виновато машет руками:

— Ребята, да что же это такое? Совсем у меня из головы вон вылетело: ведь у вас сегодня должен быть дамский день! И вы ни слова? Чудаки! Разве я не понимаю, что вы народ молодой, здоровый, и вам без этого не обойтись? В миг я... в миг! Сейчас исчезаю.

Засуетился, отыскивая фуражку и пальто.

Витька с Козловым радостно переглянулись, глазами поторговались—кому итти за дамами. И к обоюдному удовольствию решили, что пойдут вместе. А Василий стоял, стыдливо опустив голову и боясь встретиться с Кубичевым взглядом. Кубичев оделся. Пошатываясь, жал всем руки:

— Вы того... вы тут без меня повеселее! Обо мне не думайте, ради меня не торопитесь. Когда дам проводите—к Сенюшкину за мной загляните. Давно его не видал,—поговорить надо. И живет недалеко: пустяки, три минуты...

Витька и Козлов смотрели на Кубичева с неловким чувством: пальто на нем легонькое, старенькое, холодное, а на дворе норд-ост все злее и злее.

Да и до Сенюшкина не «пустяки»: около километра.

Но как иначе?

Только один Василий—видел он, что чахоточный Кубичев и в комнате-то зябко дрожит—знал, что огорчит своим предложением Козлова и Витьку, сомневался, согласится ли на него и Кубичев, но все-таки горячо было заговорил:

— Не ходил бы ты, Кубич! Погода-то больно собачья. Чего в самом деле: разок и без баб можно обойтись. Право, послушайся...

Но Кубичев улыбался и шел к двери.

Вдруг дверь с треском распахнулась, прямо на Кубичева наскочила, чуть не сбив его с ног, какая-то женщина: дико разметанные волосы, убогое ситцевое платье в клочьях.

От страха у нее перехватило голос, и задыхающимся шопотом она судорожно выбрасывала:

— Христа ради, спрячьте меня... Христа ради! Будьте добрыми людьми... спасите! Он меня убьет...

Василий за руку подтянул ее поближе к коптилке:

— Кто убьет-то? И сказать-то, дура, не умеешь толком!

Чтобы получше рассмотреть незнакомку, потянулось к свету Козлов с Витькой. Кубичев в недоумении стоял в стороне.

Дверь оставалась открытой.

На дворе раздались два выстрела, и обе пули впились в стену над плитой в кухне.

А за пулями ворвался злой крик:

— Моя жена... Права не имеете принимать чужую жену! Стрелять буду...

И уже едва слышно лепетала женщина:

— Это он... Николай... армянин. Он убьет меня.

— Армянин... Николай...—в раздумьи произнес Василий.

— Да, дяденька. Он самый. Он убьет меня,—и женщина впилась в Василия умоляющим взглядом.

На лице Василия отразилось коротенькое колебание: стоит ли из-за какой-то незнакомой бабенки подвергать себя неприятностям?

И решительно взял Василий женщину за плечи:

— Знаю его! Лети-ка отсюда подальше. Как делалась со своим Николаем—так и разделывайся. Знаем этих армян: дюже злопамятны!

Еще секунда, и женщина была бы выкинута во двор, если бы не Кубичев.

Он сразу протрезвел, в голосе у него поднялась волна дрожи:

— Нехорошо, Василий, нехорошо!

И резкий, внезапный переход—засмеялся весело:

— Чудак ты, Василий! То хотел чорт знает на кого итти—может, на целую ораву армян наткнулся бы, а тут одного армянина испугался. Не все ли тебе равно—кого бить, с кем драться? Руки у тебя на драку чешутся,—вот ты с этим Николаем и сразись. Поучи его, чтобы он так женщину не калечил!

Кубичев еще не кончил, а Николай вновь орал уже в окно и еще злее:

— Моя жена! Стрелять буду!

Догадливый Козлов с первых слов понял, как надо действовать, закричал:

— Верно! Иногда без дела бьешь, а этого-то

Спасите, он меня убьет!..

уж надо за дело поучить!—и выбежал во двор с железной палкой.

Василий отвел руку от плеча женщины.

— Я, Кубич, не испугался. Чего пугаться: меньше на земле ему или мне маяться. Ведь сам знаешь, что так всегда думаю. Не знаем мы—кто из них прав, кто виноват. Может, он ее и за дело бьет?

— Она права, я вижу!—убежденно бросил Кубичев.

— А я тоже знаю, что семейную жизнь трудно разбирать.

Женщина переводила умоляющий взгляд с Кубичева на Василия, с Василия на Кубичева:

— Дяденьки, дяденьки, спасите! За то, что я к чужим мужчинам забежала,—он меня убьет. Но как не бежать, когда он так больно дерется?

— Видишь, Вася, как обстоит дело?

И вновь по лицу Василия пробежало отражение короткого колебания: стоит ли из-за какой-то незнакомой женщины подвергать себя неприятностям? И жестко он бухнул:

— Бабам я не очень верю! Как там обстоит дело, я не знаю, да и знать не хочу: на кладбище жить—обо всех тужить? Насчет своей жизни иногда не знаешь, как подумать, а если думать о каких-то бабенках, да об их дрязгах семейных,—тут уж тебе никакой головы нехватит: с ума сойдешь!

И без того женщина была маленькая, а после речи Василия стала будто еще вдвое меньше. А руки Василия хотя и медленно, но упрямо поднимались к ее плечам.

Глава пятнадцатая

Кубичев, уравновешенный Кубичев, никогда резко не повышавший тона, взволновался необычайно.

Лицо из бледного стало кирпичного цвета. Голос тихий, размеренный, зазвучал трубной мощью.

— «На кладбище жить—обо всех тужить»! Какая мерзость! Какая гадость! Эту пакостную пословицу я от тебя впервые услышал—и я ее постараюсь забыть. А ты ее ляпнул—и кому? Беззащитной женщине! Не стыдно? Это волчья пословица, а не человеческая. Если мы все так будем думать, жизнь тогда, действительно,—кладбище!

Он передохнул. И чего уж от такого конспиратора совсем нельзя было ожидать,—слово, которое он говорил редко, да и то шопотком, он произнес выкриком.

— Эту пословицу выдумала та сволочь, которая любит жить на чужих хребтах. И не нам, рабочим, помнить и повторять эту поганую мудрость. Да, жизнь—почти кладбище: одни умирают, другие обречены. Но мы, социалисты, мы не хотим, чтобы жизнь была кладбищем! А если рабочий класс будет помнить о таких пословицах, которые учат, что человек человеку должен быть волком,—он никакого социализма не построит. Это ты запомни, Вася! Твердо запомни!

Василий—ни слова. Руки опустились, как плети. Здоровый, могучий парень стоял так, будто обухом ему только что по лбу дали.

Кубичев горячо, проникновенно обратился к женщине:

— Не бойся: от нас обиды не будет. И другим в обиду не дадим. Ну, расскажи все по порядку: как, что, почему? Имя твое?

Женщину все еще не отпускал страх, и с трудом она вымолвила:

— Дуня.

— Ишь ты... имя хорошее! Говори, Дуня, как и что у тебя с Николаем. Лет тебе сколько?

— Девятнадцатый пошел.

— Девятнадцатый? Вот года,—не года, а малина! Ну, малина, рассказывай. Ничего не скрывай.

Дуня была так истощена и забита, что казалась подростком лет четырнадцати. Спеша и путаясь, забегая вперед и возвращаясь к тому, что уже было сказано, бессвязно она принялась рассказывать, упоминая свою деревню, какое-то письмо, какую-то старуху, своего Николая.

Она не замечала, что платье у нее в клочьях, что и без того видны синяки, кровоподтеки, ссадины, и лихорадочно уверяла:

— Если бы я могла показаться, вы бы увидели: места живого нет! Вся избита! Вся изувечена!

Она даже и пыталась «показаться»: хотела поднять платье до колен, да смущал Витька. Он не спускал с нее глаз и кончиком носа поводил так, точно обнюхивал ее с головы до ног.

Кубичев ласково морщился: трудненько понять что-нибудь толком из слов Дуни. Но на помощь ему пришел Василий. Уловив из речи Дуни слово «Поликаниха», он обрадовался, что представляется случай хоть немного загладить свою вину, и рявкнул как на пожаре:

— А-а... вот когда догадываюсь!.. Теперь все понимаю. Все!.. Ну, Поликаниха—та, что у нас на дворе... Да ты ее, Кубич, знаешь,—та, что дочерью своей торгует! Эта ведьма старая шлет в свою деревню девкам письма: приезжайте, мол, ко мне,—на хорошее место поставлю. Ну, дуры, едут. А как приедут,—она их армянам да персам продает. Стерва старуха!

Дуня закивала головой:

— Так и со мной было. Приехала я, а она меня вином до лежки. Я встать не могу, а она приводит Николая: смотри-ка, говорит, девку-то! Что ж я могла...

Дуня не докончила.

Двор залился криком — животным, пронзительным, без единого слова, но понятным,—криком от жестокой боли.

От этого крика Дуня, бормоча: «Николай... он кричит...»—тоже с животным испугом во взгляде забегала глазами по комнате: куда бы понадежнее спрятаться.

Витька и Василий бросились во двор.

Вернулись вместе Витька, Козлов, Василий. У Козлова лихой вид, и, едва ввалившись в комнату, он принялся объяснять:

— Уж я поучил его! Хоть недолго, да крепко. Да еще что: чуть было не улизнул! Смотрю, глаза пялю, а он как в воду канул. Давай искать—и нашел: прижался в углу у ворот и целит в меня. Я к нему, а он—щелк, щелк!—а выстрела нет. Ну, а в третий раз я уж его щелкнул! Такого удара по гроб не забудет. Не прячься, сволочь, не целься

из засады! За это прибавляют особо. Я и прибавил: умирать будет, а Козлова не забудет.

Победоносно улыбнулся и Василий:

— А ты, Кубич, спроси, что мы под конец с этим Николаем выкинули! Козлов его за ноги, а я за плечи; раскачали да и махнули через ворота. Пустяки—ворота-то: сажени две с половиной в высоту насчитаешь! Уж и шмякнулся он там, за воротами-то: куль с солью!

Витька вертел в руках злосчастный револьвер Николая. Тщательно, обнюхав со всех сторон, он с видом большого знатока заключил:

— Пуль не было! А были бы, могло и так случиться: Козлов на тот свет отправился бы, а армяшка остался бы жить. Номер был бы, а?

Цыганские глаза Козлова засветились как-то по-звериному, лицо вспыхнуло,—вот-вот кровь брызнет,—зубы хищно оскалились, и он вплотную придвинулся к Витьке.

— В меня стрелять—прямо в сердце попадай: тогда свалюсь! Ну, а если еще куда,—издыхать буду, но и тому жить не дам: горло перегрызу.

Василий тяжело опустил свою руку на плечо Козлову и, обращаясь к Кубичеву, гордо заявил:

— Взгляни на него! Это по-нашему... по-симбирски!

Кубичев что-то обдумывал, морща лоб.

Витька и Козлов опять завели «переговоры». Они были недовольны, что не увидят сегодня Любки и Катьки из-за какой-то бабенки, и пристально рассматривали эту бабенку.

Потом перемигнулись: оба согласились, что если

хорошенько разглядеть, то ведь бабенка-то, оказывается, недурна.

Только вот беда: как ее взять?

Козлов задумался. Сначала лицо его было хмуро, потом прояснилось.

Указал Витьке глазами на Василия и Кубичева, приложил руку к щеке,—и Витька все понял: когда Кубичев с Василием заснут, он распорядится с бабенкой по-своему...

Они довольны, они оба согласны: чего в самом деле на нее впустую смотреть?

Бабенка знает, что из-за нее подвергались опасности, знает, что ее защищали от побоев, а потому и пикнуть не посмеет...

Кубичев надумался.

Строго,—никогда от него такого тона не слыхали,—потребовал от Василия:

— А ну, выложь,—сколько у тебя всего денег?

Василий был казначеем. Ему все сдавали свой заработок полностью, он вел все расходы по содержанию, а главное—никогда не допивался до того, чтобы терять деньги.

Каждый от него получал безотказно, сколько нужно, но никогда еще никто не требовал у него отчета, сколько у него в наличности. Кубичев зарабатывал больше всех—до двухсот рублей в месяц, но расходовал на себя меньше всех.

Что это? Недоверие?

Василий вспыхнул, растерялся, глупо спросил:

— Каких денег?

И опять раздалось строго:

— Вот дубина! Не знаешь, какие деньги бывают?

Василий достал из бокового кармана пиджака бумажник и негнущимися пальцами, привычными больше ворочать тяжести, медленно, будто с большим усилием отдирая одну бумажку от другой, стал считать.

А в больших, добрых, коровьих глазах стояла тяжкая обида: если бы такое недоверие исходило не от Кубича, а от кого-нибудь другого, показал бы ему Василий.

Но Кубич—человек, по одному мановению руки которого Василий пойдет на что угодно,—приходится терпеть.

А Кубичев стоял около, жадно смотрел на деньги и торопил:

— Да скорее же! Эка дядя! Ну, сорок, сорок пять, сорок восемь... Опять завяз?

— Завязнешь тут,—беспомощно сказал Василий.—Деньга-то уж очень заезжанная. Ты—себе, а она себе, проклятая!

И вдруг бросил деньги на стол.

— Считай, кому нужно. А я, ежели мне не доверяют, не буду. И вообче: денек у меня сегодня выпал! Давеча насчет кладбища по глупости сболтнул, а мне головомойку какую,—в жисть не забуду! Вроде я, как сукин сын какой, только о своей утробе думаю. Теперь вот деньги... Вышел значит Васька Богданов из веры. Ну, что ж!..

А Кубичев, чуткий, глубокий Кубичев—он будто даже и не догадался о горечи Василия: схватил деньги и считает.

Три пары глаз следили за ним с острым, напряженным любопытством.

Как-то не вязалось: Кубичев—и деньги!

Потому-то и любили его, уважали, верили ему беспрекословно, не рассуждая, ибо в жестокой борьбе за существование даже самое ограниченное сознание скоро постигает: деньги—это мера человека. Человек, ставящий деньги выше всего,—волк людям.

А теперь бывший бессребренник, не желающий иметь ничего, кроме двух смен белья, старой бессменной одежонки и войлочной кошмы; человек, всегда утверждавший, что самый вредный хлам, засоряющий жизнь,—деньги, относившийся к деньгам равнодушно, даже брезгливо,—теперь вцепился в деньги дрожащими руками, как алчный скряга!

Кончил Кубичев подсчет, передал деньги Василию и таинственно сказал:

— Хватит! Сто пятьдесят шесть! Вот мы на них и выкинем штуку... Такую штуку, после которой до тюри не дойдем...

Затем отвел всех троих в кухню и минут десять им там что-то нашептывал. А когда вернулись в комнату, все так сияли,—казалось, что не было у них в жизни еще такой великой радости.

Только с Козловым и Витькой нет-нет да и случится какое-то помрачение: переглянутся между собой, и станет Козлов пунцовым, глаза свои цыганские не знает куда девать, а у Витьки дрогнет кончик носа, а в глазах—влажная поволока.

Зато Василий—именинник из именинников!

Прочно утвердил свои слоновьи ноги на полу, руки в бока уставил и ест Дуню глазами в упор, не отрываясь.

Долго смотрел и наконец изрек:

— Ну, красавица, ложись-ка спать! На любую постель можешь. У нас так: куда захотел—туда и лег. Где лег—можешь считать, что это твое место. Поняла, как мы просто и хорошо живем?

Дуня поняла, но по-своему, по-женски.

Когда еще они все четверо шопотком совещались в кухне, она уже посматривала туда с боязнью женщины, находящейся в полной власти незнакомых мужчин. А теперь, когда ей предложена «любая постель», ее подозрение превратилось в уверенность.

Инстинктивно она встала с табуретки, шагнула вперед—к кухне, но сейчас же отступила назад и робко присела на край одной постели.

И сидела с низко опущенной головой, покорная, беспомощная, беспомощностью своей яснее всяких слов говорящая, что она решилась подчиниться всему, лишь бы не очутиться в эту холодную ночь под злым норд-остом на дворе, а может быть, даже и во власти Николая.

Кубичев шепнул что-то Василию, и они уселись за стол и погрузились в какие-то расчеты и записи.

— На сей предмет пятеркой обойдемся?—спрашивал Кубичев.

Василий неодобрительно крутил головой и деловито, с ноткой превосходства, тянул:

— Пя-те-рка? Ты уж мне поверь. Я в этих

делах толк понимаю. За пятерку дерьмо получают, а ежели хочешь получше,—не жалей десятки!

Кубичев весело щелкал пальцами:

— Так, значит, и запишем: десятка! За свежий товар рубля не пожалеем!

Козлов перемигнулся с Витькой, подошел к Дуне и взял ее за плечи.

— Ты что же, голубушка? Спать ложись, а не жди. Мой дружок тебя честью просил: на любую постель! Мы из-за тебя до тюри не дойдем, а ты кочевряжишься. Ну?—и, быстро вращая желтыми белками глаз, он попытался было мягко и тихо склонить ее на постель.

Она рванулась, взглянула на Козлова—матерая фигура, взглянула на Василия—страшная фигура по силе, тяжести и громоздкости. И, казалось, только тут она заметила, что от платья у нее остались одни только клочья, сквозь которые видна ее нагота—нагота не женщины, а истощенного, забитого, заморенного подростка.

И в последний раз она взглянула на Козлова: на ее лице ясно проступила мольба о пощаде—не о такой, чтобы ее вполне пощадили, а о такой, чтобы хоть немного приняли во внимание ее слабость и болезнь.

А Козлов продолжал слегка напирать на плечи Дуни. И, уже не сопротивляясь, Дуня склонилась на постель.

Вдруг опять, резко, как пружина, выпрямилась и села. Из глаз брызнули слезы, лицо полыхало стыдом, и вновь выдохнула, уже криком:

— Огонь-то хоть, бесстыдники, потушите! И

денег для меня не считайте. Не возьму я ваших денег. Не продажная я!

Подскочил Кубичев:

— Ты что, красавица, думаешь: вот я попала ночью к незнакомым мужчинам, и они надо мной сделают, что захотят? Напрасно. Обиды не будет. Спи спокойно. Ты уж мне поверь.

И Дуня поверила, что «обиды» не будет. Сразу, только по одному голосу,—даже не посмотрела на Кубичева.

И уже катились из ее глаз другие слезы:

— Оставьте меня за кухарку! Я дешево буду служить: сколько дадите—столько и возьму. Ведь мне некуда итти от вас. У меня только два места: или у вас, или у Николая. Все мое у Николая: и пачпорт мой, и одежа, и обува. А как он меня бил... как он меня, кобель, мучил! Умирать стану—не забуду! У-у-у... поганый. И меня всю испоганил. Как подумаю про себя,—людям стыдно в глаза смотреть!

Все четверо смеялись, и каждый на свой лад уверял, что непременно оставят: такую молодую кухарку приятно иметь!

Дуня поверила и горячо стала убеждать, что она может готовить «очень даже хорошо».

Улеглись спать: Витька на своей постели, Дуня на постели Козлова, а Кубичев, хотя постель Василия и оставалась свободной, на своей неизменной войлочной кошме—на полу.

Василий же с Козловым, зная нравы промысла, решили быть настороже и ушли во двор.

Глава шестнадцатая

Деловито исследовали крепость калитки и засов у ворот: и то, и другое оказалось надежным—сделанным применительно к местным условиям.

Василий был вооружен топором, Козлов—револьвером и шестом. Конец шеста он заострил и с нетерпением ждал момента, когда шест пойдет в работу:

— Скорее являлись бы, черти! Придется им лезть через ворота,—вот тут я их по башкам и помету. А кого-нибудь и прямо как на вертел насажу!

— Знаю армян. Теперь Николай отборных головорезов подбирает,—высказался и Василий и жестко добавил:—Ежели человек десять—обухом буду глушить, а ежели больше—пусть не взыщут: рубить буду!

По-звериному жались к воротам, прислушивались к каждому шороху извне.

Но время шло, а Николай не являлся.

Промысел спал, и только норд-ост порывами гулко и злобно носился между буровыми вышками. Но двор не спал.

В нем около сотни живущих. Десять номеров—через каждые пять шагов номер. И все эти десять номеров знали, что совершается во дворе.

Под вечер Дуня обегала девять номеров, в каждом со слезами упрашивая укрыть ее от Николая, и везде получила грубый отказ. Только в десятый номер, зная, что там одна холостежь, да которая и тому же пьянствует, побоялась сходить.

А явился Николай,—залетела с испугу к холостежи: только тут и оказались незапертыми двери.

И когда стрелял Николай в десятый номер, все девять номеров жадно прильнули к окнам; когда били Николая, все девять номеров жадно впивали в себя его крики.

Теперь все девять номеров знали, что дело еще не кончено, и хотя была уже глубокая ночь, но никто не спал: ждали «продолжения». Делали вид, что спят: ни в одном окне нет огня, однако почти в каждом попыхивают огоньки папирос.

Но «продолжения» почему-то пока все нет, и скрипят в узком, как колодец, дворе двери номеров, и нетерпеливо шушукаются около дверей тени.

Козлов и Василий все это видели. И хоть не ново это было для них, но противно.

Даже боевое настроение у обоих спало.

Прислушиваясь к вою ветра, Василий выронил уныло:

— Эх, земляк, в скверном месте мы живем! Не люди, а звери: каждый только за свою берлогу дрожит. Уж не так давно мы с тобой после Симбирска тут живем, а сколько раз видели... ну, того... как человека около самой двери режут, а из этой двери хоть бы нос кто высунул! Мыши, а не люди! Ежели другой в западню попал,—плевать: лишь бы самому не попасть.

— Что и говорить!—не менее уныло подтвердил Козлов:—Днем-то еще ничего, а ночью—хуже погоста. На погосте, ежели покойников не боишься,—спокойно. А тут идешь ночью мимо

дверей—смотри в оба, будь наготове: всем ты враг, и тебе все враги. А это уж разве жизнь?

Помолчал—и с тоской:

— Подумываю частенько: в Симбирск бы, в свою деревню, и на фабрику поступить! Да за чем остановка: тут сто с лишним монет зашибаешь, а там за четвертной горб гни да хозяину кланяйся. А не будешь кланяться,—выгонит, и опять, значит, с родимого гнезда куда-то сниматься. Да и родимого гнезда-то, по правде, уж нет. Сестер нет, братьев нет, батька с маткой померли; приедешь и будешь будто как чужой! Ежели уж отсюда ехать—надо править куда-нибудь еще.

— Оно и меня тянет из этого болота, да только не на фабрику, а в деревню. Мне-то, конечно, веселее: и батька, и матка, и сестер, и братьев—кагал! Помнишь, как я деревенскую работу любил: первое, бывало, удовольствие она мне! Но куда ж? Вот через год пойду «царю и отечеству служить»,—Василий выругался и зубами скрипнул.—И ежели благополучно отслужу—а навряд ли благополучно: быть мне в штрафном батальоне,—тогда, может, потом и поселюсь в деревне.

И потекло у них время незаметно: беседовали они о деревне, как истые мужики, перебирая все хорошие и плохие стороны деревенской жизни.

Это были два мирные парня, любящие труд, мирную, тихую жизнь, совсем не похожие на тех Козлова и Василия, какими их знали в Балаханах.

Так и беседовали до семи часов утра. Когда рабочие пошли на работу, тогда и они вспомнили, что пора им домой.

Козлов, едва переступил порог кухни, весело гаркнул:

— Эй, кухарка, довольно спать! Живо—самовар!

Но у Дуни уже не только налажен самовар,—Дуня разыскала у запасливого Василия иголку и нитки, починила платье и возится теперь около плиты, а Козлову полусердито отвечает:

— Самовар скоро будет готов. А вот насчет пыли и грязи на плите,—надо же столько накопить!

Василия и починенное платье, и закипающий самовар, и возня около плиты радуют, и похваливает он и Кубичева и Дуню:

— Молодец, Кубич, ей-богу, молодец! Всегда нам надо его слушаться. Он уже знает, кого надо поддержать,—никогда не ошибется. Можно сказать—огонь, а не кухарка: у такой, сразу видно, все в руках горит! Старайся, Дуня, старайся, а мы у тебя в долгу тоже не останемся.

Готов самовар. Поднялись Витька и Кубичев.

За чаем Дуня предъявила соображения кухарки: что из кухонной посуды следует приобрести.

Разводила удивленно руками: пятеро жили, а ни одного чугуна, ни одной кастрюли не имели!

Ей в три голоса подсказывали, что еще надо прибавить к тому, что она уже назвала.

Проста Дуня, а догадалась:

— Ну, ну... Если все сразу купить—у вас, пожалуй, денег не хватит. Надо пока что необходимое только.

Смеялся Козлов, улыбался застенчиво Василий, скалил зубы Витька:

— Мы—богатые. Нас не разоришь,—и опять словно обнюхивал Дуню.

Но Дуню уж Витька не смущал. Усмехнулась кокетливо:

— Уж и смотрите вы!..

— А на тебя и смотреть нельзя?

— Смотреть можно. Отчего же! Только смотрите-то вы,—смехота одна!

Витька делает вид, что он очень обижен, и сердито требует:

— Ах, смехота! А ну, покажи, какая я смехота, а не сумеешь,—тогда у меня смотри!

Дуня ловко разливает чай и звонко смеется. Витьке ее не запугать. Витька маленький, и пусть этот маленький сердится, зато все остальные дяди—большие и добрые.

— Я покажу,—и, при дружном смехе Козлова, Василия и самого Витьки, Дуня довольно удачно представила: «как смотрит Витька».

Дуня ожила.

Девятнадцати лет ей и теперь дать нельзя. Умытая, причесанная, успокоенная насчет своей дальнейшей судьбы, она кажется хорошенькой девочкой лет пятнадцати.

Василий даже несколько раз глаза протер:

— Прямо диво: не узнаешь! Ну, и живчик!

Действительно «живчик»: Дуня и чай разливает.

Витька взялся за грамошку.

Старательно сыграл вальс, перешел на «марш».

У Дуни глаза разбегаются: смотрит на цветы. Козлов ей услужливо сообщает:

— У нас этого добра всегда сколько угодно.

Она глядит на Кубичева, грозит Козлову пальцем и предупреждает:

— Ох, и хитер ты, парень, я вижу. От тебя надо подальше, да только я не боюсь: чуть что—я дяде Кубичу пожалуюсь. Он за меня всегда заступится!

Смотрит на Витьку. Витька заманчиво обещает:

— Это еще что! Вот погоди, я тебе романсы сыграю, слезами изойдешь!

Вот нежданно-негаданно свалилось житье!

Дуня переставляет вещи, сыплет замечания относительно беспорядка на стенах—все эти картузы, пиджаки, штаны она разместит по-своему. Мрачное логовище холостяков начинает оживляться.

Даже Василий—хоть сопит и краснеет, но взгляда от Дуни отвести не может. Померкли для Витьки Любка, для Козлова Катька.

Только один Кубичев как будто ничего не замечает: продолжает заниматься какими-то записями и расчетами.

Кончил. Передал Витьке записку. В записке стояло:

«Твоя Любка тоже птичка-невеличка, и пальто с нее будет как раз по Дуне. А кроме того (на всякий черный случай) возьми у Любки Дуне на дорогу паспорт. По приезде в деревню Дуня перешлет его обратно нам. Возвращайся скорее».

Последнее напоминание было лишним: Витька неохотно отправился к Любке. По его уходе Кубичев обратился к Дуне:

— Ну, красавица, через часок поедем в город.

Разоримся тебе на такую кухню—диво! Кастрюли медные, чугуны эмалированные, посуду фарфоровую, и что там еще? Словом, все—честь-честью!

И рада Дуня, и печалится,—в чем она поедет? В разодранном платье и неловко, и холодно.

У Кубичева высокий-высокий лоб. И на лбу этом и вокруг глаз много морщинок.

И задрожали все эти морщинки—засмеялись, и непередаваемо прекрасен был этот человек с высоким лбом мыслителя.

— Ехать не в чем? Не беда! Витька достанет какую-нибудь покрышку. Ну, а уж из города привезем мы свою кухарку Дуню прямо барыней.

Витька вернулся раньше, чем можно было предполагать.

Облачилась Дуня в Любкино пальто.

Тронулся Кубичев, шагнула за ним Дуня, а Василий, Козлов, Витька—в раздумьи и ни с места. Не велика Дуня, а сумела их поманить, кроме звонкого смеха, улыбок, блеска глаз, еще чистотой, порядком, уютом, и не хочется им уже расставаться с этой «птичкой-невеличкой».

Козлов и Витька подговаривают взглядами Василия вступить в переговоры с Кубичевым,—«а мы, мол, поддержим».

И раскрыл было рот Василий, да Кубичев сам обернулся и вымолвить слова Василию не дал. Свистнул, кулаком всем погрозил:

— Понимаю, понимаю! Чтобы все перегрызлись, передрались? Ни за что! Покорно прошу трогаться за мной.

Все дружно засмеялись и тронулись.

Вернулись из Баку домой к вечеру, но без Дуни. Дуня поехала в свою самарскую деревушку, хорошо одетая, да еще с сотней рублей в кармане.

Козлов ей даже попутчиц до Самары подыскал.

Про сотню рублей Кубичев говорил:

— Для видимости! Я ее хорошо наторкал: вот, мол, служила и скопила. А у деревенских сто рублей—целый капитал. И примут ее дома с этим капиталом с радостью. Пропала бы здесь бабенка, а бабенка не плохая.

Василий, Козлов, Витька допивали остатки и весело смеялись: «до тюри» им теперь не на что. Если бы не Дуня, пили бы до тех пор, пока не иссяк последний рубль. А «до тюри»» значило—допиться до состояния, когда после пьянки в течение нескольких дней не могли принимать иной пищи, кроме тюри—вода, хлеб, постное масло и лук.

Когда была разлита последняя спиртная влага, Кубичев потребовал себе рюмку и полушутливо, полусерьезно произнес:

— Я считаю, что Дуня нам—вроде подарка. И подарка хорошего! Пью за этот подарок!

За этот «подарок» им грозило еще нашествие Николая.

Они знали, что не сегодня, так завтра, но нагрянет Николай с ватагой заступников, однако все мало об этом беспокоились, кроме Витьки.

Козлов подарил револьвер Николая Витьке. Витька добыл в Баку пуль к револьверу и сгорал от желания пустить его в дело, да только боялся: сообразит Николай, что стычку-то придется иметь

с Василием и Козловым,—и вдруг раздумает сводить счеты за Дуню.

Витька оказался прав.

Когда Николай узнал, что корень раздора—Дуня—уже от Балаханов далеко, он счел, что не стоит рисковать ребрами и головой из-за того, чего уже вернуть нельзя.

А весной, в мае, Кубичев отправил меня лечиться в Крым. По-бедному, с натугой, можно было бы полечиться и на те средства, которые мне дали Кубичев, Василий, Козлов, Витька, но Кубичев настоял, чтобы я не дрожал над каждой расходуемой лишней копейкой. Для этого он познакомил меня с каким-то бородатым человеком, бородатый человек похлопотал еще перед кем-то, и в моем кармане очутилась сумма, на которую я мог жить и лечиться с полгода. На вокзале Кубичев дал мне наставление:

— Вот что, дружище: о станке-то ты позабудь. Может, поправишься, подлечишься, а за станком работником настоящим едва ли когда сможешь быть. Подумывай-ка ты о другом. Фантазия у тебя есть,—вот ты и бей на то, чтобы сочинителя из себя образовать. Может, и не ахти какой сочинитель будешь, но для нашего брата-рабочего—смотрю так—лучше плохонький да свой, чем хороший, но нам чужой!

Растроганный, я залепетал, что буду стараться и все написанное обязательно присылать ему, но он весело засмеялся:

— Вот уж не советую на меня рассчитывать. Говорят: «все под богом ходим», а над такими, как

я, бог особенный—позрячее небесного: в жандармском мундире. Мы с тобой разговариваем, а он, возможно, стоит где-нибудь недалеко от нас в сторонке и за мной бдит. Ты уедешь, а я, может быть, прямо с вокзала в кутузку отправлюсь.

В Крыму я пробыл три месяца. Перед отъездом в Баку вспомнил, что давно на родине не бывал, и решил: прежде недельки на две—домой, а потом в Баку. А на родине меня давно уже ждали. По делу, которому подходила пятилетняя давность, мне жандармский мундир на третий день по приезде объявил: по приговору департамента полиции должен я пробыть на месте родины два года под гласным надзором, без права выезда и без права какой бы то ни было службы или работы.

Легко ли? Но я вспомнил Кубичева, его твердость—и принял кару «земного бога» спокойно.

Сейчас же в юмористических тонах я написал об этом в Балаханы Кубичеву, но получил ответ от Витьки: Кубичев, Василий, Козлов на каком-то деле провалились и арестованы, а он, Витька, выезжает на свою родину—в Сызрань.

Там Витька и осуществил свою мечту о «тихой» жизни: выбился через год в железнодорожные машинисты и женился.

Связь с остальными так и не удалось восстановить.

Все это теперь—далеко позади. Минули великие даты 1905 и 1917 годов.

Я не думаю, чтобы слабый здоровьем Кубичев мог дожить до второй даты. Вероятнее всего, что

пролетариат Балаханов строит свою новую жизнь и свои новые жилища без него.

Но теперь, когда я знаю, что в пустыне растут города-сады, я, вспоминая Балаханы, улыбаюсь. Водоемы, цветники, детские площадки теперь—и маленький карапуз, работавший щепочкой над грязным насосом под палящим солнцем в те годы, когда рабочий класс только начинал организовываться для борьбы против капитала!

Автобиография

Родился в 1877 году в г. Пензе. Отец мой по происхождению крестьянин, но к 30 годам перебрался в Пензу, где и прослужил до самой своей смерти железнодорожным стрелочником.

Когда он умер—мне было девять лет, а когда мне сравнялось одиннадцать—умерла мать. Я в это время был во втором классе уездного училища.

Учиться мне очень хотелось, ученье мне давалось очень легко, и я спал и видел—выучиться на доктора. Врачевать недуги людей—казалось мне высшим назначением человека. Но со смертью матери пришлось с этой мечтой проститься. Надо было крепко подумать не об ученьи, а о том, чтобы прокормить не только себя, но и трех сестер, из которых только одна была старше меня.

Правда, кое-что и они подрабатывали (вязали пуховые платки), но это был такой заработок, которого не хватило бы и на полуголодное существование.

От восьми до десяти копеек в день—вот что могла выработать каждая сестра на пуховых платках.

В эти годы—от 11 до 14 лет—я нес непосильную для своего возраста работу. Подавал по 12 часов в день заклепки при постройке железнодорожных мостов, сидел, при клепке котлов, в котлах в роли

гаршинского «глухаря» (отчего на всю жизнь у меня осталась изрядная глухота), работал наравне со взрослыми мясниками на бойнях.

С 14 лет я поступил в ученье на механический завод.

И до этого я много читал, но рядом с серьезными вещами попадалось много всякой чепухи, вроде «Еруслана», «Громобоя» и «Бовы-королевича». Но 15 лет я познакомился с одном букинистом, которого звали за его отмороженные руки «культяпым», и этот букинист под величайшей тайной стал мне давать «недозволенную» литературу. Так я познакомился с «Что делать» Чернышевского, с Прудоном, с Лассалем, с Сен-Симоном, с Фурье—в 16 лет уже читал Маркса и Энгельса.

Трудно было в одиночку, без руководителей, без возможности хоть единым словом обмолвиться о прочитанном с кем-нибудь, одолевать такие вещи, но я все же духом не падал и своего политического образования не бросал.

Впрочем, выпадали и редкие праздники: иногда со мной беседовал на политические темы и по поводу прочитанных книг букинист.

Часто вспоминаю этого человека с большой благодарностью.

От 16 до 24 лет я работал токарем по металлу. Перебывал за этот срок во многих городах: в Петербурге, в Харькове, в Екатеринославе, в Мариуполе, в Баку, в Туле, Калуге, Рязани.

18 лет я втесался в Пензе в первое политическое дело. В Пензу была выслана группа студентов из Москвы за организацию студенческих кружков,—я этих студентов свел с пензенскими рабочими, и этим было положено в Пензе начало первой, политической работы. Устраивались массовки, читались рабочим заграничные прокламации, прорабатывался Маркс и Энгельс.

Вскоре эта работа жандармерией была раскрыта. Следствие велось долго, и я пробыл по этому делу четыре год под негласным надзором, а потом, по приговору департамента полиции, водворен был на два года, без права выезда, на место родины, т. е. в ту же Пензу, под гласный надзор.

Это водворение совпало как раз с очень тяжелым для меня обстоятельством: у меня уже года четыре был хронический ревматизм, и этот ревматизм довел меня до того, что я не в состоянии был работать.

Последняя моя работа у токарного станка была в Баку. Если бы я не заехал в Баку, а работал на таких благоустроенных заводах, как Харьковский паровозостроительный и механический—я, может быть, долго еще не выбыл бы из рабочей среды. Но Баку, с его ужасными заводами того времени, где о защите здоровья рабочего у капиталистов и помышления не было,—Баку меня дошиб окончательно.

В 24 года я был полный инвалид, не способный ни к какому физическому труду. Водворенному на место родины под гласный надзор полиции,—что мне оставалось делать, лишенному почти всяких средств к существованию? Небольшая поддержка одной сестры—вот все, что я имел. Но не висеть же всю жизнь на шее сестры, которая себе добывала средства к жизни каторжным трудом прачки.

Впереди маячило—самоубийство. Но стирать себя с лица земли в таком молодом возрасте было бы безрассудством. Тем более, что я мог испытать свои силы на другом поприще. Зуд к писательству у меня появлялся с раннего возраста: еще восьми лет, едва преодолев азбуку, я сочинял стихи. После перешел и к писанию прозы. Но все это так—для себя и для читки в тесном товарищеском кружке. Но чтобы быть когда-нибудь писателем профессионалом—об этом я никогда серьезно не думал.

Судьба заставила меня метнуть и этот жребий. И каково мне пришлось на писательском пути—об этом читатель может узнать из моей книги «Прокрустово ложе».

Я писал и буду писать только о рабочих и крестьянах. Что вне этих двух социальных пластов—меня интересует постольку, поскольку связано с ними. С тех пор, как напечатался впервые—прошло 28 лет. Написал я в общей сложности до ста печатных листов,—за такой долгий срок литературной работы это немного. Но и этим немногим я недоволен. Постоянная нужда, потом годы войны, потом первые годы революции, потом к 50 годам уже плохое здоровье—помешали развернуться так, как хотелось бы.

30 коп.

4 7136

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА (ПРАВЛЕНИЯ)
Москва-центр, улица 25 Октября (б. Никольская) 10
СКЛАД ИЗДАНИЙ
Книгоцентр, Москва-центр, Богоявленский пер.